

К 64

118 Константин Коничев

Зас 200



К СЕВЕРУ ОТ ВОЛОГДЫ

О Т А В Т О Р А

«К Северу от Вологды»—повесть-быль. Она охватывает почти двадцатилетний период. В основе ее лежат события, имевшие место в действительности, и все герои повести — невымышленные люди.

В 1933 году мне довелось услышать рассказ старого большевика Седого о его скитаниях по тюрьмам и ссылкам. Рассказанное им я использовал в этой книге. Не так давно умер проживавший в Москве архангельский матрос коммунист Поскакухин, организатор восстания и массового побега с острова Мудьюга, где в 1918—1919 годах находился каторжный лагерь, основанный интервентами. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны умер в г. Орджоникидзе и национальный герой Осетии, коммунист Хаджи-Мурат Дзарахохов, храбрый командир партизанского отряда, действовавшего во время гражданской войны на Севере. Личное знакомство с Хаджи-Муратом позволило мне ввести его в эту повесть. Рассказывая о молодом революционере Феоктисте Винокурове и его товарищах, я использовал воспоминания очевидцев и материалы следственного дела, находящегося в Вологодском архиве.

Не вымышленна и фигура Сулейкина, хотя фамилия изменена. В лице Сулейкина я хотел показать подлых предателей Родины, которые после Великой Октябрьской социалистической революции и разгрома интервентов перекрашивались, отсиживались в укромных местечках и точили клыки против советской власти. Бдительность — оружие против этих жалких, но опасных прихвостней империалистических хищников.

Иван Тягунов и его сын, Кошкин и Глухарев — герои с вымышленными фамилиями, но списанные с живых людей,

когда-то работавших на лесопилке Рыбкина, бурлачивших на Мариинской системе и Высоковской запани. Эти люди с первых дней Великого Октября честно и преданно служили рабоче-крестьянской советской власти, с оружием в руках изгоняли иноземных захватчиков с родного Севера и в наше время честно трудятся на благо советского народа.

Я старался как можно точнее воспроизвести события и судьбы известных мне людей, надеясь, что правдивые страницы прошлого будут интересны советским читателям.

К. Концев



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

К северу от Вологды, за деревнями и перелесками, за пожнями и болотами, протекает река Кубина. Тянется она с севера на юг, тянется не прямо, не ровными длинными плесами, а излучинами, изворотами. Начинаясь среди необъятных лесов и пустырей, Кубина омывает заливные луга и, обойдя десяток волостей, впадает в большое судоходное озеро.

На всем своем протяжении только в весенний ледоход и после обильных дождей бывает Кубина буйная, обычно же в летнее время — тиха она и спокойна. И в озеро впадает как-то осторожно, во многих местах, образуя в устье своем похожую на щупальцы дельту.

Зимой устье Кубины, озеро и пожни — всё сливается в одну безграничную белоснежную пустыню. Здесь крутят с посвистом метели, и даже в тихую погоду позёмка застилает гладкую поверхность застывшего озера и всего приозерья. Летом на заливных лугах растут душистые травы, а в пожнях резун-осока почти с головой скрывает человека.

За низкорослым болотным сосняком и ягодником в окрестностях Кубенского приозерья раскинулись мелкие, невзрачные деревушки. За ними, далеко на север, на запад и восток, простираются без конца и края хвойные леса. Лохматые лапы вечнозеленого ельника заслоняют холодную и сырую мать-землю от солнечного света; оттого в гуще лесов серый кочковатый суглинок покрыт, словно ржавчиной, мхом, и не скоро в этих местах поспевают морошка, клюква и брусника. По опушкам леса растут ползучий ивняк, можжевельник, и кое-где к столетним великанам зябко жмутся с палитыми краснеющими гроздьями калина и рябина.

Могучие леса Кадниковского уезда по Кубине и ее притокам веками стояли нетронутыми и, казалось, ждали, когда придет всемогущий человек покорить их себе на пользу. Но не простые люди, обитатели жалких деревень, были хозяевами этих богатств. Лесами владели царский казенный удел, помещики и монастыри, да еще богачи, скупавшие лесные участки у разорившихся дворян. Царская власть оградила кубинские леса от мужицкого топора межевыми ямами, просеками и столбами. А на тех межевых затесанных столбах — выжженные черные клейма, а на клеймах — двуглабые орлы, стерегущие неприкосновенную лесную собственность власть имущих особ.

И вот случилось так, что сюда, в лесную кубинскую глушь, в конце прошлого века неожиданно пожаловал богатый промышленник Федор Иванович Рыбкин. Приехал он: не один, а с приказчиками и подрядчиками. Хмурый и задумчивый, поднялся он с ними на лодке вверх по Кубине, осмотрел леса, подсчитал, сколько строевых деревьев приходится в среднем на десятину, и решил на первых порах приобрести десять тысяч удельных десятин, чтобы начать в устье Кубины лесопильное дело.

На широкой прогалине-подсеке, возле березовой рощи, между Кубиной и Сигаймой, вырос железом крытый лесопильный завод. Черная вывеска по всему фасаду с золоченой надписью «Рыбкин с сыновьями» придавала ему внушительный вид. Около завода теснились приземистые бараки для рабочих. Хозяйский двухэтажный дом, с конторой в нижнем этаже, расположился поодаль, но и сюда доносился пронзительный визг трех шведских рам, непрерывно, день и ночь, в две смены, пиливших на доски мелкослойный кубинский лес.

Хозяйский дом был построен позднее лесопилки. Сначала, в первые годы, Рыбкин бывал на своем заводе наездом, проверял работу управляющего Рогалева и инженера немца Бюргера. Пиленый лес в барках сплавался стсюда по Мариинской системе каналов и рек в Петербург, а потом шел за границу.

Получив изрядные доходы, Рыбкин надумал окончательно поселиться в Кадниковском уезде и поглубже пустить корни в выгодном лесном хозяйстве.

Для постройки собственного дома он нанял сорок лучших боровецких, из-под Вологды, плотников и не пожалел трех тысяч бревен. Подрядчик долго не мог угодить Рыбкину, несколько раз менял план дома, наконец, уловив прихоть хозяина, изобразил на бумаге новый проект, и Рыбкин сказал:

— Делай так!..

Ровно год, от весны до весны, плотники, набившие руку на солидных городских работах, строили Рыбкину хоромы. Приходили люди, с завистью и любопытством осматривали рыбкинский дом, судачили:

— Ну и домик!.. Три деревни впахать, — всем места хватит... Одних труб двенадцать, и все кирпичные, под колпаками!..

— А окон-то, окон-то! С каждой стороны по шестнадцати... Господи, сколько добра на такую избушку пошло! И как в ней хозяин не заблудится!.. Гораздо у него семья большая?..

Кто-нибудь из любознательных прохожих или сезонников спрашивал рыбкинского конторщика:

— Батюшка-писарь, а на крыше-то у хозяйской хоромы какой это веры часовенка? На ней крест — не крест, а стрелы поперечные с буквами. К чему бы это?

Конторщик с оглядкой разъяснял, что домище такой хозяин «сгрохал» потому, что ему деньги некуда девать, а не потому, что семья большая. Семья — сам да супруга Акулина Фотиевна, да две приживалки, а что касается двух сыновей, то они в Питере в университете учатся и там проживают. Шесть комнат в доме этом занимают со своими семьями управляющий Рогалев Филипп Иванович и немец Бюргер, а внизу — контора... И что над крышей с угла не часовенка, а вышка для наблюдения, стрелы показывают, с какой стороны ветер дует, — хозяину иногда и это нужно знать. Лазает он туда с подзорной трубой и

высматривает, где что делается: плывут ли плоты по Кубине, не вышли ли барки с пилеными досками в поветерь на озеро и кто как работает на погрузке досок. Хозяин всё высмотрит. У него не вздумаешь замешкаться, того и гляди — штраф!..

— Башковит шельма! — дивились мужики. — Только где ему углядеть за всеми... В трубу смотрит, а приказчики да конторщики под носом обворуют. Знаем ихнего брата — сплошь оптики!..

Богат и смышлен Федор Иванович. Знает он, как можно на копейку рубль нажить. Не чета усть-кубинским торговашам, что испокон веку торговлишкой в селе пробавляются: и обмеривают, и обвешивают, а богатеют не очень-то быстро.

Местные купчики сначала дивились смелому предприятию Рыбкина, а потом, разглядев его замашки, стали ворчать: «Как же так? Мы всю жизнь тут торгуем, около лесу выросли, а о лесопильне у нас и помысла не было! А он вот приехал с толстым карманом и новое дело повернул на полный ход...»

Усть-кубинских торговцев возмущало, что Федор Иванович глядел на них свысока, ни с кем близко знаться не хотел, и что для рабочих — пильщиков, лесорубов и сплавщиков — открыл свою торговлю.

А лесопильный завод шумел и хлопал досками круглые сутки во все времена года. Даже в праздничные дни высокая железная труба, закрепленная на земле цепями, дымила, не переставая.

За пять лет Рыбкин так разбогател, что стал подумывать, где бы ему построить еще один завод. Но построить так и не пришлось, потому что, следуя примеру Рыбкина, усть-кубинские купцы Никуличевы, Ганичевы, Кокоревы, Долгановы в складчину и порознь, тайно один от другого, стали скупать в верховьях Кубины казенные лесные участки. Скоро по соседству с рыбкинским заводом появились еще три лесопилки, правда, не такие богатые и совершенные, но всё же в какой-то мере ставшие помехой Федору Ивановичу.

Триста человек постоянных пильщиков, укладчиков и грузчиков работали у Рыбкина на заводе. Число сезонных лесорубов, сплавщиков и бурлаков на барках переваливало иногда за тысячу. Чтобы дешевле и быстрее отправлять доски в Питер, Рыбкин приобрел два буксирных па-

рохода — «Гришу» и «Веру» — и пригнал их с Ладожского канала на Кубину. Переименовывать буксиры он не стал.

Правда, Акулина Фотиевна однажды, сидя за самоваром, попросила его назвать буксирные пароходы «Петей» и «Мишей» в честь любимых сыновей-студентов. Но Рыбкин в ту пору был немного не в духе, отмахнулся и сказал:

— Не велика им честь от этого, Фотиевна, да и ни к чему ребятам баловство. Пусть пока учатся, а там, глядишь, и славу себе вместе с капиталом наживут, если в меня уродились...

II

Светлая, весенняя пасхальная неделя. На приходских колокольнях в Усть-Кубинском — у Воскресения, на Петровке, на Лысой горе у богоматери и у Спаса-Каменного, что на Кубенском озере, — всю неделю гудели и трезвонили колокола. Погода установилась после первых весенних дождей теплая. Из-под рваных, быстро бегущих облаков чаще и чаще проглядывало солнце и по-весеннему ласково прощупывало землю.

Накануне пасхи, в страстную субботу, Федор Иванович распорядился приостановить завод на двое суток. На третий день завод работал, а хозяин с похмелья прохлаждался в своих покоях.

Радостен, доволен был в эти дни Федор Иванович. И не потому, что стояла хорошая погода на пасхальной неделе, и не потому даже, что оба сына приехали на пасхальные каникулы, — по душе Федору Ивановичу было то, что вся Кубина, с верху до устья, освободилась от ледяной скорлупы и что вместе с ледоходом ни одно бревно с клеймом «Ф.Р.» не уплыло в озеро. Значит, нынче ожидается благополучный сплав. И еще было радостно Рыбкину оттого, что на озере Кубенском буйным ветром колыхало, дробило и раскидывало по низовьям и пожням остатки льда. Скоро очистится озеро, и тогда «Гриша» с «Верой» поведут за собой ни много-ни мало тридцать барок с досками.

— Помнишь, Фотиевна, в первый-то год мы пять барок сплавили, да и то для начала были радехоньки!.. А нынче — тридцать! — восторгался Рыбкин.

— Господь помогает: ни здоровьем, ни смекалкой не обидел тебя.

— Бог-то бог, да и сам я не так уж плох...

После сытного завтрака Рыбкин, тяжело отдуваясь, нагнул сапоги с высокими голенищами, надел драповое пальто и, взяв складную подзорную трубу, полез по узкой и прямой лестнице на вышку. На крыше скрипел флюгер. Облокотясь на решетчатые перила, Рыбкин протер платком стёкла трубы, раздвинул ее и приставил узким концом к правому глазу.

Пока он разглядывал, свободен ли выход из озера в сторону реки Порозовицы, откуда по Мариинскому каналу проходит путь к Питеру, на вышку поднялась, шурша длинным подолом шелкового платья, кряхтя и тяжело вздыхая, тучная Акулина Фотиевна.

— Ох, и узка лесенка, — проговорила она, становясь рядом с мужем.

— Не лестница узка, а ты чересчур толста, — возразил Федор Иванович, — и не от здоровья, а от сердечного порока. Вот возьму да нынче на теплые воды отправлю, пускай лишний жир с тебя доктора сгонят.

— И не думай. Без тебя не поеду.

— А мне и без курортов дела хватит. На-ко трубу, глян, что вокруг делается!... Какое раздолье!..

Возле берега Кубины, у самого завода, стояли одна за другой новенькие барки, построенные в эту зиму шуйскими мастерами. Бабы и девки из окрестных кубинских деревень работали на погрузке пиленого леса, «зашибая» по три гривенника в день. Они по сходням подносили доски на плечах. В барках стояли укладчики и, принимая товар, покрикивали:

— Поживей, поживей!.. Хозяин с вышки поглядывает.

— Эй, поживей!..

Грузчики торопились. Хозяину это было по душе.

— Народ здесь крепкий, — глядя, как идет погрузка, говорил Федор Иванович, — работой его не скрутишь, а нужда людская — хорошая в моих делах помощница.

— Прибавить бы им, Федор Иванович, по пятаку в день, — сжалилась, глядя на грузниц, Фотиевна.

— Нет, тридцать копеек для бабы не малые деньги. Двугривенного, пожалуй, хватило бы...

Погладив полуседу, клинышком подстриженную боро-

ду, Рыбкин взял из рук жены подзорную трубу и взглянул вдоль Кубины: из-за Лебяжьего острова вдалеке показались первые пласты леса.

— Слава тебе, господи, идет наше золото, идет... — Рыбкин набожно перекрестился на церковь лысогорской богородицы. — Добра-то сколько! На будущий год миллиончиком ворочать буду. Эх, кабы старость не торопилась ко мне... Чёрт бы ее побрал! — Однако, говоря так, был уверен, что жизнь его, несмотря на проседь в бороде, не так-то скоро оборвется. Он жалел, что поздно догадался вложить свой капитал в лесное выгодное дело. Вот если б лет на десять раньше, каким бы богачом мог стать!..

Скрипнул флюгер. Чтобы не простыть на ветру, хозяин с хозяйкой прикрыли стеклянную дверь. Поглядев еще немного сквозь узорчатые переплеты окон, Рыбкин стал спускаться вниз. Следом, держась за перила, перескакивала Фотиевна.

В светлые весенние сумерки Рыбкин с женой прогуливались по берегу. Погрузка барок шла безостановочно. Последнюю барку бурлаки спускали с подстановок на воду. Человек пятьдесят в расстегнутых разноцветных ситцевых и холщовых рубахах, ухватившись за канаты, тащили ее, непокорную и неподатливую, с отлогого берега в воду. Накренившись на бок, она неохотно сползала по бревенчатым скатам.

Запевала стояла в стороне и лениво тянул:

Эй, ребята, берись дружно:
Тащить барочку нам нужно!..
Сама пойдет, сама пойдет,
Подёрнем, подёрнем,
Да ухнем!..

Барка чуть-чуть подалась. Заметив хозяина, запеваала подбодрился и подхватил громче:

Эй, ребята, дери глотку,
Нам хозяин даст на водку!..

— Как же, держи карман шире, получишь от него снегу в крещение...

— Скорей тароватый нищий подаст...

Хозяин сделал вид будто не слышит едких замечаний,

а услужливый и бойкий запевала не унимался и к «Дубинушке» наскоро присочинил:

Мы хозяина уважим,
Всею силой приналяжем...
Эй, дубинушка, ухнем!..
Мы работушку не бросим,
А на водочку попросим:
«Дядя Федор с Акулиной, —
Нам на водку пять с полтиной!..»

Тут Рыбкин не выдержал и громко, чтобы все слышали, сказал:

— Не жирно ли будет?

И, поддерживая одной рукой жену, другой опираясь на трость с серебряным набалдашником, молча пошел дальше по засыпанному опилками берегу. А вслед ему чей-то зычный голос прогудел в тон запевале:

Чтобы барка шла ходчес,
Дать бы Рыбкину по шее..

Обернулся хозяин, погрозил тростью:

— Смотрите, черти! Допоеетесь у меня...

Около завода Рыбкин встретил управляющего Рогалева. Поздоровались.

— С проходящим праздничком, Федор Иванович...
Здравствуйте!

— Так же и вам мое почтение. Как идут дела?

— Да всё будто по-хорошему. Кончается распиловка прошлогоднего леса, а новые плоты как раз начинают подходить. Простоя не будет. Погрузка на полном ходу. Два каравана по четыре барки готовы. Можно отправлять в Питер.

— А телеграмму послал в Кириллов — начальнику водных путей сообщения? — спросил Рыбкин строго и деловито. — Как там у цих каналы и озёра? Освободились ото льда?..

— Послана, Федор Иванович, ответа пока нет. Наверно, из-за пасхальных дней телеграф не работает, либо начальник пьянствует. Однако, по моему разумению, денечка через два-три можно будет смело барки буксировать. Вот только в путину бурлаков надо еще набрать, человек тридцать...

Конец фразы потонул в реве заводского гудка.

— Шабаш! — закричали укладчики досок.

— Шабаш! — послышалось вслед за гудком на лесной бирже, в цехе — всюду, где только копошились люди.

Сорок минут полагалось на отдых и еду, а там опять за работу. Грузчицы, пришедшие из деревень, располагались обедать на берегу Кубины, между штабелями досок; заводские торопливо шагали к приземистым баракам. Не лакомый обед у грузчиц: хлеб-соль, вареная картошка, пареная репа да луковица. Вместо чая с сахаром — вода пригоршнями из Кубины. У рабочих в бараках — треска соленая, каша пшенная — хозяйский харч в долг, под расчет.

— Так, говоришь, бурлаков нехватает? — спросил Рыбкин управляющего, когда замолкнул гудок.

— Да, человек тридцать, — повторил Рогалев, — да сплавщиков и плотчиков на Высоковскую запань нужно человек сто, не меньше.

— Так набирай, чтобы дело не стояло.

— Не извольте беспокоиться, Федор Иванович, по волеям объявлено. Завтра в Устье Кубинское на мыс к церкви столько народу подойдет поряжаться — глазом не окинешь...

III

...На другой день в селе у церковной ограды собралась большая, пестрая, разноликая и многоголосая толпа мужиков и парней (женщин на сплав и на барки не брали). Сошлись тут люди из окрестных мест — из Заднеселья и Уфтюги, из Грибцовщины и Катромы, из Пустого Раменья, из Закушья и Заболотья и даже из далекого Двицкого-Березника. Одеты в домотканные, грубо сшитые, притом заплата на заплате, кафтаны, все они выглядели серыми, как земля весенняя. То грусть, то напускное веселье, а иногда и залихватская удал проглядывали на их утомленных лицах. Мешки с ляжками, берестяные кошели и лубочные сундучки, наполненные ржаными и овсяными сухарями, да запасными лаптями, лежали беспорядочной кучей в стороне без всякого призора. Дребезжали в чьих-то руках старенькие тальянки-черепанки, и звуки их сливались с общим людским гомоном и колокольным пасхальным звоном. Внизу на извороте шумно плескалась о каменистый берег Кубина. Скрипели в uključинах вёсла

перевозчиков, беспрестанно подвозивших новых людей Толпа росла. Ждали подрядчиков от хозяина, или управляющего. Ждали, переговаривались:

— Многоноько-таки нашего брата скопилось...

— Да, надо бы сговориться, да упереться в цене, а то начнут наперебой поряжаться, кому от этого польза?

— Попробуй, сговорись. Многие с голодухи готовы хоть в петлю...

Рыбкин в подозрную трубу видел, как собирается толпа на своеобразной бирже, видел, и схать к ней не спешил. Пусть собираются. От избытка товар дешевлеет...

А в толпе сезонников уже начинали роптать. В прошлом и позапрошлом годах приезжали сюда в эту пору Рогалев с Бюргером. Они не заставили себя ждать, а приехали ранним утром, подобрали людей на работу и ценой-подождиной вроде бы не обидели.

Прошел слух, что нынче приедет сам. И кто-то разочарованно вздохнул:

— Сам-то он, выжига, не переплатит...

— А откуда он взялся, леший такой, в наших краях? Приехал, застроился и здешних-то всех обдувалов за пояс заткнул, — проговорил рябой мужик.

— Известно откуда, с Ижоры, из-под Питера. Там от кирпичного завода нажился, да мало ему, вот сюда его и мотнуло, — сообщил парень, ранее бурлачивший у Рыбкина, и, почесав лохматую голову, сказал, ни к кому не обращаясь: — Ох, и разбогатеет, стервец, на здешних лесах да на нашем хребте. Скоро побогаче Балдина будет. Есть на Мариинском капале такой заводчик, там все леса выхлестал поблизости от рек, а теперь, говорят, свой завод Рыбкину продать собирается.

— Вся сила в деньгах. Через деньги всё можно... — вставил рябой.

— Это еще как сказать... Смотря в каких руках деньги, — возразил парень. — У Рыбкина голова с мозгом: он каждую свою копейку чужой кровью смочит, глядишь, — она ему в рубль обернется. Кто работал у него, тот знает, каков этот Рыбкин. Человек будто, — а породы волчьей. И жадность, и хватка...

— А Балдин, а Никуличев, а Ганичев? Эти чем его лучше? — перебил голос бойкого на язык сезонника.

— Одно дермо. У Рыбкина только размах пошире, да погляди, у него из трубы заводской и дым погуше валит.

— И умеешь же ты, Ванька, примечать.

— А как же! На что глаза и уши даны человеку!..

Парень, названный Ванькой, замолчал и, не спеша, сквозь толпу направился на бугорок к церковной ограде, откуда доносились переборы звонкоголосой черепашки. Одет он был получше других: короткий пиджак-ватник перехвачен широким потрескавшимся ремнем, на ногах пропитанные дегтем сапоги, штаны без заплат, с напуском на смазные голенища.

Подойдя к гармонисту, он вдруг подогнул ногу и, лихо ударив ладонью о подошву сапога, весело сказал:

— К чертям кручина да тоска, ковырнем давай с носка! Русского, аль камаринского можешь?..

— Могу! — кивнул гармонист. Отвернув в сторону изрытое оспой лицо, он заиграл под пляску. Пальцы его, толстые и заскорузлые, с ногтями, пожелтевшими от жгучих цыгарок, с несвероятной живостью забегали по клавишам старой, с выцветшими мехами, но еще голосистой гармонии.

Народ раздвинулся, оживился.

— Дайте круг, Тягунов топнуть хочет!

— Шире, шире!

Смесь частых переливчатых звуков рванулась из тальяшки.

— А ну, Ванька, дай жару!..

— Тягунов, не посрами Катрому! Пусть знают наших!.. — подзадоривали Ванькины земляки.

Сезонник, подошедший к гармонисту, привскочил на месте, закружился было, но сразу же остановился, снял с себя ватник, швырнул вместе с ремнем в сторону и, оставшись в вышитой рубахе с домотканным поясом — кисти до колен, плюнул себе на ладони и снова к гармонисту:

— А ну-ка, рвани почаще, с вывертом!..

И пошел в залихватский пляс. Толпа раздвинулась еще шире вокруг плясуна и невозмутимого, с застывшим лицом, сосредоточенного гармониста. Плясун и гоголем и вприсядку выхаживал по кругу, иногда напевая:

Наш-то Рыбкин да Балдин
Знают промысел один!..
Говорят, что Балдина
Рыбкин вытряхнет до дна!..
А нам не важно, кто кого —
Нам не легче оттого.

Плясал он и пел без устали, не зная сам, для кого и зачем так старается: то ли для себя, чтобы забыться, то ли чтобы развеселить людей.

Круг становился гуще. Плотной стеной надвинулись со всех сторон заднесельские, пустораменские и других волостей мужики и ребята. Слышались одобрителыные возгласы:

— Молодчага! Здрово выкомаривает!..

— Шельмец, девятое колено дает и всё по-разному!

— А ну, раздайся шире! В рот заскочу! — покрикивал плясун, то изгибаясь, то вертясь волчком, под одобрителыный гул своих односельчан.

— Да чей он такой? Откуда?

— Кто же его не знает? Тягунов Ванька, с Катромы. Не первый год у Рыбкина бурлачит. И на запани с багром хаживал. Кто его не знает?.. Женатик, а и ребятам-холостякам такого плясу не задать. Разве один Степка Кошкин супротив его выстоит. Вон он, в лаптях, с ноги на ногу переступает. Поди-ка, у парня ноги зудят, да в лаптях-то по луговине не очень-то разойдешься..

— А спляши, Степан, не труть!

Кошкин выскочил вперед. Но недолго продолжалась степкина пляска: сделав два круга, он уступил Тягунову, уселся на луговину и, ругаясь, стал обматывать веревочкой распутившиеся холщовые онучи.

— Эх, мать честная, да разве можно в лаптях на перепляску со мной идти? — добродушно говорил ему после Тягунов. — Смех один...

— Ничего, мы как-нибудь на босу ногу схватимся. Я тебе покажу!.. — храбрился Степка.

Между тем от рыбкинского завода к мысу вышел буксирный «Гриша». Рыбкин стоял в рубке рядом с капитаном. Слегка покачиваясь, он смотрел на мыс, на толпу людей, пришедших искать работы, и был доволен тем, что и нынче за рабочими руками дело не станет.

Пароход подвалил бортом к берегу. По зыбкому трапу, перекинутому с палубы, важно, помахивая тростью, сошел на берег Рыбкин. За ним — управляющий с конторской книгой.

— У-у! Сколько гостей изо всех волостей! — весело и громко сказал Рыбкин, окинув взглядом людское собрание. — Ну, что молчите? Я с вами буду здороваться, или вы со мной?..

Из притихшей толпы отчетливо прозвучал голос Тягунова:

— Да полагалось бы вам с нами. Нас вроде бы больше.

— Больше, — ухмыльнулся Рыбкин. — А зачем ко мне вы пожаловали?.. Кто вас пригнал?..

В колыхнувшейся толпе пробежал легкий говор:

— К вашей милости, Федор Иванович...

— На работенку наняться...

— Хм... у меня работенки нет, а есть работа! — строго и внушительно ответил Рыбкин. Взойдя на бугорок, чтобы виднее было пришедших, он сказал управляющему:

— Распорядись, Филипп Иванович, чтобы на часок на колокольне звон прекратили. Буду с этими охлупнями дело решать...

Сотни недоверчивых, внимательных глаз устремились на будущего хозяина.

— Ну, люди добрые, так скажите мне: чего же вам надо? — опять заговорил Рыбкин, когда прекратился звон и управляющий с книгой подошел к нему. — Чего вам — работы или заработка?

— Одно при другом, Федор Иванович, без заработка только прежде на господ работали. А теперь наш брат — на найму, — слышалось из толпы.

— Ну что ж, правильно... Только заранее говорю: на легкий заработок на сплаве не надейтесь. На баржах в путице тоже дела хватит. Так вот, первое условие: кто поворит побольше поденщины получить, а не трудиться, тот Рыбкину не годится. Тому от моих ворот сразу поворот. Второе условие: и на сплаве и на баржах харч мой вам в долг. Каша пшенная на постном масле — хоть обожритесь. Хлеба ржаного — три фунта. Чай-сахар и добавочный приварок — всё будет за ваш счет, каждому могу в долг отпускать. Третье условие: паспорта сдать управляющему Рогалеву до окончания срока работы, до расчета. А поденщина нынче такая: мужику, от восемнадцати лет до полных сил, цена — смотря где: на бревнах в запани — полтинник, на барках водоливу — шесть гривен в день. Шкипера и караванные — особая статья.

— Не густо, Федор Иванович, — сказал кто-то в толпе.

— Да и не мало, — возразил Рыбкин. — При воздержном житье к осени можно домой с деньгами вернуться. А кто пропойца или картежник, тот и сотню размо-



тает... Так вот, Филипп Иванович, — обратился он к Рогалеву: — отбери всех прошлогодних десятников сплава, караванных, шкиперов, а остальных людей набирай по своему усмотрению и по пригодности.

Из толпы опять послышался тот же неуверенный голос: — Федор Иванович, а работать-то как — по часам, с праздниками, или без праздников?

Рыбкин словно даже удивился такому вопросу. Кому не понятно, что на сплаве и на барках о праздниках и речи не может быть. Лето короткое, а дни на севере длинные, потому так и заведено — работать не по часам, а по солнышку.

— Не мной установлено, не мне и нарушать порядок, — сухо ответил он. — В деревнях-то как работают в летнюю пору? От восхода до заката. Ну, значит, так и у меня. Сезон кончится — отсыпайтесь у себя на печи, на то воля ваша. А пока ваши паспорта в конторе или у караванных, над вами моя воля.

По толпе прошел глухой и невнятный гул и скоро смолк. Матрос с буксира принес и поставил на луговину столик и табуретку. Толпа для порядка встала в очередь. Рыбкин отошел в сторону и, закурив папиросу, издали поглядывал на управляющего. Рогалев придирался к тем сезонникам, у которых паспорта устарели, и к тем, которые казались ему хилыми да неповоротливыми. Запись шла медленно. Рыбкину стало скучно; подозвав к себе из толпы знакомого ему караванного Никиту, прогоревшего торговца и пьяницу, — он спросил:

— А ты подобрал себе молодчиков?

— Пока приглядываюсь, Федор Иванович. Не ошибиться бы, а то возьмешь тюху-пантюху и мучайся потом с ним.

— Верно. Надобно сильных и расторопных. Особенно водоливов, чтобы в барках воды не было, чтобы товар не подмокал. Как подмокнет, так и брак, и убыток. Давай Никита, подбирай, а я тебе пособлю.

Рыбкин бросил недокуренную папиросу, Степан Кошкин, давно следивший за хозяином, заметил, что окурком можно еще раза два-три затянуться, ловко поймал его почти на лету. Тягунов ладонью наотмашь вышиб из Степкиной руки окурок и, притоптав его, сказал брезгливо:

— Чего всякую дрянь подбираешь. Человек ты, или скотина?

— А что? — возмутился Степа. — Хозяин ведь тоже крещенный. Чего брезговать?

— Дурачина! Знай себе цену...

— Ишь ты какой! — обернулся в сторону Тягунова Рыбкин и предложил караванному: — Никита, бери его в водоливы. Парень, видать, с поровом. Сколько их тебе — на четыре барки по два водолива, да по одному шкиперу — всего двенадцать? Давай вот этого, этого...

Рыбкин подошел к мужикам, столпившимся у стола управляющего, быстро выбрал двенадцать человек. Никита отобрал столько же. Всех построили в два ряда: двенадцать против двенадцати.

— Не знаю кого из них взять... на глазок трудно определить, — растерялся Никита. — Лошадь покупать и то сначала объездить надо...

— А мы их сейчас объездим, — сказал Рыбкин и, довольный своей выдумкой, потер руки. — Пусть побарахтаются, поборются, кто сверху окажется — того и бери на барки.

Двух крайних сезонников Рыбкин столкнул грудь с грудью. Остальные сцепились сами, и началась потасовка. В шутку это или всерьез, сезонники сразу не поняли. Сказано — побарахтаться, чего еще ждать? Лупи, по чему попало!

— Кто бойчее, тот и мой! — подзадоривал Рыбкин. — Шесть гривен поденщина... Пятак прибавлю!..

Схватились сначала бороться, потом, когда толпа отхлынула от Рогалева и окружила их, борьба стала перерастать в драку с мордобоем. Хлюпали крепко сжатые кулаки, трещали домотканые и кумачовые рубахи, под ногами катались мешавшие в схватке берестяные кошелки. Кое-кто перемазался в крови, кое-кто с подбитым глазом и расквашенным носом отбегал в сторону, отплевываясь и ругаясь. А Рыбкин, потешаясь, следил за дракой и время от времени растаскивал мужиков, приговаривая:

— Вот этот не гожд, а вот этого, Никита, пиши сразу в шкипера. Силён, чёртушка!..

Свалка кончалась. Рыбкин успел выбрать на барки десять человек. Продолжали бороться только двое, ловких и равных по силе, — Иван Тягунов и Степа Кошкин. Боролись они не спеша, по всем правилам, с хитринкой.

— Степка, чего копаешься? Да садани ему левшой под нижнее ребро, не устоит!..

— Ванька! Не уступай, не посрами Катрому! Бей, во что угодишь, уговору не было, — подбадривали земляки то одного, то другого.

Десять «победителей», отобранных в бурлаки, курили папиросы — хозяйскую премию. Приятный сизый дым вился над головами. Кошкин вдруг остервенело накинулся на Тягунова; собравшись с силами, он схватил его за горло. Но Тягунов уперся коленом Степа в живот и хватил его кулаком по лбу. Кошкин разжал цепкие пальцы, отскочил. Единственная медная пуговка оторвалась от его мешковатых штанов. В горячке Степа и не заметил, как штаны сползли до самых колен. Дружный хохот заставил его опомниться. Штаны он подвязал веревочкой, заменявшей пояс, и, стиснув зубы, вновь схватился с Тягуновым.

— Бойкие ребята, Федор Иванович, надо обоих взять, — посоветовал Никита.

— Ладно, без тебя знаю, — сказал хозяин и продолжал наблюдать. Ему почему-то хотелось, чтобы в схватке досталось Тягунову.

Но Тягунов схватил Кошкина за кисти рук и так сжал, что Кошкин как ни выкручивался, вывернуться не мог.

— Довольно нам с тобой народ смешить, да хозяина потешать. Давай-ка, Степа, перестанем, — и, ослабив руки, Тягунов добродушно поглядел ему в глаза.

— И в самом деле, зверье мы, что ли?! — согласился тот. — Выпусти, больше не буду. Кому потеха, а нам не до смеха.

Борцы разошлись, поправляя на себе помятую, и порванную одежонку.

— Как же так? — возмутился Рыбкин. — У меня этак не играют. Все боролись до самого последку, а вы что за гуси? А ежели не хотите биться до победы, давайте так: кто из вас устоит на ногах от моего кулака, того назначу шкипером на барку — поденщина на четвертак дороже. Вот...

— А ну ты к дьяволу! — отмахнулся Кошкин, — еще убьешь, и ничего тебе за это не будет, скажешь — любовное согласие было.

— Разуместся, при свидетелях, — с насмешкой ответил хозяин. — Что, струсил?..

Степан, щупая и поглаживая тугой синяк на лбу, отошел в сторонку.

Рыбкин сжал кулак. На безымянном пальце — широ-

кое золотое кольцо, на указательном — массивный перстень с монограммой «Ф.Р.». Посмотрев на кулак, самодовольно усмехаясь, сказал:

— Н-да. Таким бы святым кулаком да по грешной шее дать, — пожалуй, долой с катушек.

В толпе кто-то угодливо захихикал. Тягунов стоял, на-супясь. И вдруг выступил вперед:

— Что ж, хозяин, попробуй. — И, упрочившись на широко расставленных ногах, приготовился принять удар. — Попробуй, — повторил он дерзко и вызывающе.

— Ах вот как! — изумляясь смелости сезонника, воскликнул Рыбкин. — Попробуем!.. — Воткнул трость в мягкую, оттаявшую землю; пальто, чтобы не мешало развернуться, снял и отдал Рогалеву. Остался в жилетке. Золотая цепь в два ряда поперек живота, разноцветными огоньками сверкал и светился свисавший в виде подковы подвесок.

Люди удивленно переглядывались. Кто-то из катромских крикнул:

— Ванюха, держись за землю.

— Не опозорь Катрому, не бойся, не зашибет, — кишка тонка.

Рыбкин приблизился к Тягунову на расстояние трех шагов. Лицо суровое, злое; руку для размаха занес за спину... Не раз приходилось ему сгоряча бить своих рабочих еще на Ижоре. Иногда для верности он зажимал в кулаке увесистый серебряный портсигар, бил в ухо и не помнит случая, чтобы кто-либо от такого удара не падал навзничь.

— И-и-эх! — крикнул хозяин, размахнувшись что есть силы.

Размахнулся и... грохнулся оземь... Тягунов в мгновение уклонился от удара, кулак Рыбкина свистнул над его головой, и в ту же секунду бурлак уверенно и крепко ударил промышленника в левый бок, под сердце. Тягунов выпрямился и застыл, глядя себе под ноги на лежащего Рыбкина. Толпа заволновалась.

— Доктора! Доктора!.. — но, вспомнив, что до больницы около двух верст, испуганный управляющий закричал: — Воды!.. Воды!..

Матрос с «Гриши» притащил полное ведро. Но едва ли Рыбкин в этом нуждался. Он лежал и, казалось, не дышал.

— Убил, поди-ка?! — послышался чей-то тревожный голос.

— Ничего, отдышется!.. Я его легонько... Во что-то твердое угодил, кокотышку ушию малость, — сказал Тягунов дрогнувшим голосом.

— Эх, Ванька! Теперь всю обедню испортил...

— Господа, надо как-то спасать, — суетился Рогалев, — у всех на глазах погибает человек...

Он склонился над хозяином, дрожащей рукой нащупал пульс, — приподнял с земли отяжелевшее тело. У Рыбкина из кармана жилетки выскользнули золотые часы. Крышки часов раскрылись, и на землю посыпались осколки стекла и весь часовой механизм.

— Не разделаться Ваньке! Гляньте, как он по часам хряснул!

— Вот вам и Катрома...

Матрос с «Гриши», смочив в ведре носовой платок, прикладывал его к побледневшему лицу хозяина, приговаривая:

— Ничего, пройдет, это так только... с непривычки...

Минут через пять Рыбкин открыл глаза, вздохнул тяжело, простонал:

— Глотнуть, глотнуть дайте, мерзавцы...

— Эх, не разделаться Тягунову: одни часики чего стоят, да бесчестье-то какое хозяину при народе учинил...

Рыбкину помогли сесть. Увидев ведро, потянулся и глотнул через край холодной речной воды.

Его поставили на ноги. Рогалев и Никита поддерживали под руки, чтобы не свалился.

— Ладно, не мешайте... Я сам... — Пошарил правой рукой, словно убеждаясь — тут ли сердце, прохрипел: — Урядника... Протокол!.. — и сразу раздумал: — Не надо!.. — Свирепый взгляд остановился на Тягунове.

— Ловок, дьявол... Подайте пальто...

Когда его одевали, стоил и ни на кого не глядел. Силен, а теперь еле вытащил воткнутую в землю трость. Достал портсигар, раскрыл и предложил Тягунову:

— Закуривай.

— Благодарю.

— Бери, если угощаю, кури.

Тягунов потянулся за папиросой. Кто-то услужливо чиркнул спичку и поднес закурить обоим. Пошарив в кар-

манах, Рыбкин нашел трехрублевую бумажку и, сияясь улыбнуться, подал Тягунову.

— Это тебе за то, что не отправил меня вон туда, на кладбище, за церковную ограду...

Тягунов молча взял.

— А ты, Филипп Иванович, — обратился он к управляющему, — запиши этого чёрта в караван Никиты, на головную барку, шкипером... а того, которому он лоб разукрасил, водоливом туда же...

Опираясь на трость и заметно пошатываясь, провожаемый удивленными взглядами сезонников, Рыбкин прошел на палубу «Гриши» и скрылся в каюте капитана.

— Ну и ну, как дело-то обернулось, — недоуменно тараща глаза на Тягунова, проговорил Кошкин. — Не бросай, Иван, дай докурить. Как-никак, нам с тобой быть на одной барке.

Наем рабочей силы продолжался без хозяина. Вечерело. Весеннее солнце катилось за край озера, за реку Порозовицу; огромное, яркокрасное, в безоблачном небе, оно предвещало хорошую погоду.

IV

Мутная весенняя ночь. Тишина. Чуть плещется Кубина. На высоком берегу раскинулся сосновый бор; на низком — мелкий кустарник опоясал со стороны реки заливные луга и покрылся пеленой густого тумана. С одного берега на другой перекинуты и зачалепы за свайник пеньковые снасти. Крепко связанные брёвна, по четыре в ряд, перегораживают реку: здесь запань для задержки плотов и молевого леса.

Недалеко от тесовых бараков горят костры. Их пламя то ярко вспыхивает, то гаснет, меркнет и снова вспыхивает, озаряя сидящих вокруг сплавщиков.

Баракы в теплые весенние ночи почти пустуют. После долгого трудового дня сплавщики предпочитают располагаться на вольном воздухе. Кто подсел к костру и сушит промокшие портянки, кто, утомившись за день, растянулся на земле и спит. Всё это землеробы из разных кубинских волостей, вытесненные нуждой на сезонные заработки.

Две недели назад, когда с вожегодских, грибцовских и катромских лесных участков шли к запани плоты отбор-

ного леса, дружным напором воды и ветра раскидало брёвна по берегам Кубины на десятки верст. И хотя каждое бревно с вершины и комля клеймено буквами «Ф. Р.», катромские и грибцовские крестьяне стали ловить и присваивать хозяйский лес. Брёвна с кубинских отмелей возили в деревни, отпиливали и сжигали клейменные концы, а из гладкоствольных бревен поспешно рубили срубы для жилых и дворовых построек... А кому не досталось бревен с реки, те, подумав, шли в казенный лес на самовольную порубку...

Отправив барки с тесом в Питер, Рыбкин занялся сплавом, — и вдруг такая беда: в сплавной конторе недоиссчитали около сорока тысяч бревен. Бешено метался Рыбкин между заводом и запанью, ругался, неизвестно кому грозил судом и расправой; наконец подал многословную жалобу — прошение Кадниковскому уездному исправнику Гантимурову. А хитроумный инженер, немец Бюргер посоветовал хозяину не пожалеть денег, нанять десять «фискалов» и послать их по деревням выявлять расхитителей аварийного леса, а также и самовольных порубщиков. По крайней мере, в руках конторы будут улики. Рыбкину совет понравился, но всё же он спросил инженера:

— А стоит ли овчинка выделки? Будет ли барыш и, вообще, толк от такой затеи?..

— Безусловно! — Как опытный делец, Бюргер тут же прикинул на счетах накладные расходы и, сбросив костяшки, пояснил:

— К этим небольшим расходам добавить еще «фискалам» наградные — по пяти копеек за каждое найденное в деревнях краденое бревно — и расходы полностью списать за счет снижения поденщины сплавщикам. Правда, это ударит их по карману, но для пустого кармана разве чувствительно? — улыбнулся он, довольный своей остротой. — А для вас, Федор Иванович, учтите, бревно, разделанное на доски, по петербургским ценам от восьми до десяти рублей штука — вот это уже чувствительно!

— Да, это верно: в лесу дуб — рубль, в столице — по рублю спица. Я вот ночей не сплю, всё думаю: ужели нынешний сезон придется работать без барыша, вхолостую? Ведь сорок тысяч бревен растащили!

— Кстати, нигде вами не застрахованных, — с упреком заметил Бюргер.

И тут Рыбкин вспомнил, как, несмотря на уговоры

Бюргера и Рогалева, отказался страховать в обществах «Саламандра» и «Россия» лес, находившийся еще на воде.

Против «фискалов» и снижения поденщины сплавщикам Рыбкин не возражал. Вскоре нашлись такие людишки. Потихоньку расползлись они по деревням Вожегодчины, Катромы, Грибцовщины, Устья-Кубинского, выискивая виноватых и записывая их фамилии для доноса.

Сезонники, работавшие на плотях, на молевом сплаве и в запани, узнав об этом, насторожились.

Однажды утром, не успело еще солнце показаться над зубчатой чертой темного леса, как возле бараков у запани гулко зазвенел медный колокол. Зевая и лениво потягиваясь, сплавщики стали неохотно подниматься. Протирая заспанные глаза, они спускались с берега к приплеску реки и, наскоро умывшись, взяв багры, топоры, бечевки и снасти, гуськом, друг за другом шли на запань перехватывать и плотить остатки плывущего леса. Работали ловко и дружно, насупясь, с присущей северянам суровой молчаливостью.

В полдень звон колокола напомнил уставшим сплавщикам об обеде. Для подкорма сплавщиков рыбкинский приказчик открывал около бараков грязный ларск. В ларьке на прилавке — ярославский табак, архангельская треска, черствый хлеб, а под прилавком — наполненные водкой сороковки и «мерзавчики» — сотки.

Иногда к сплавщикам в обед приходили из ближних деревень жёны, приносили корзины с хлебом и овсяными пирогами, торопливо сообщали деревенские новости. Вот одна из них, пожилая, высохшая, подсев к артели сплавщиков, громко тараторила; ее резкий голос заглушал голоса других баб.

— Вы тут работаете, рубахи к спинам липнут, — говорила она, — а что дома делается — не знаете. У нас мужики, которые лес рыбкинский с реки к себе увозили, все под суд попали. Пошли по деревням какие-то «пискалы», — у кого десять, а у кого полсотни и больше бревен записали себе в книжечки и распорядились: «везите лес снова в реку». Мужики, конечно, стали противиться. «Пошли вы, — говорят, — к чёртовой бабушке, пока вам по хребту не попало...». А те свое: «Под суд за кражу рыбкинских бревен — и никаких пощад вам не будет». А где суд — там и острог. Вот-те вам и даровой лесок!..

— Худо будет, мужики, — проговорил десятник. — Нехорошие вести принесли бабы...

— А чему быть, того не миновать, — спокойно заметил молодой сплавщик, опираясь на багор и глядя в небо на бегущие облака.

— А можно и миновать, — возразил десятник. — Надо бабам дать наказ: пусть дома растолкуют народу, чтобы лес возвращали без греха. Этого, дескать, мы, сплавщики, хотим и воровать никому не советуем...

— А мы не ответчики и не советчики, — заговорил опять тот же сплавщик. — Нечего мужиков винить. Пусть-ка начальство в этом как следует разберется. Живем в лесу, а печи топить нечем. Леса-то чьи? Попы говорят — бог создал, а у бога все равны...

— Ловко повернул! — отозвался ехидно десятник. — Только в таких делах бог не помога. Заповедь «не укради» помнить надо...

— Ты бы лучше сам о ней помнил, — громко сказал один из сидевших на земле рабочих.

— Но-но... потише...

— Чего потише? — Молодой сплавщик отбросил багор и подошел вплотную к десятнику. — Воруют хозяйский лес, говоришь? А Рыбкин твой не вор? Мужики — так те от нужды подобрали разбросанные брёвна, а Рыбкин, небось, скоро лопнет с жиру, обсчитывая нас на каждой копейке...

— Ну ладно, ладно... ты про хозяина-то того... не очень, — проговорил десятник, отходя, однако, подальше от артели сплавщиков, и повысил голос:

— Эй! Досдай скорее! Сторож, звони!

Брякнул колокол. Кончился обед. Люди поднялись с мест и, хмурые, вновь потянулись на работу.

V

В паспорте значилось — Иван Петрович Тягунов, а в бурлацкой путине все называли его Ванькой с Катромы.

Были у Тягунова два подручных водолива — Степан Кошкин и Семен Глухарев. Обоим было лет по двадцати. К Тягунову оба они прониклись уважением с той поры, как тот сбил Рыбкина на мысу. Не раз они вспоминали об этом и дивились — почему злой и жадный хозяин вдруг

за нанесенную ему обиду дал Тягунову трешницу и назначил шкипером на барку? Странно как-то и невероятно!

Отправляя барки в путину, Рыбкин предупредил караванного: «Посматривай за этим молодчиком, храбр и дерзок, как бы не выкинул чего...».

С первых же дней Тягунов почувствовал: придиричив Никита. Чуть какая заминка, он тотчас тут:

— Дурака сваял наш Федор Иванович. И для чего он поставил шкипером Ваньку? Без привычки и смекалки да сразу в шкиперы!

Но Тягунов не хуже других справлялся со своим делом, к тому же работа на барке-тесовке не представляла особых трудностей. Только однажды в начале пути случилось небольшое несчастье.

Когда буксир «Вера» вывел караван из Кубины в озеро, поднялся сильный боковой ветер. Озеро в шестьдесят верст в длину и десять в ширину не безопасно в бурную непогоду для барок-тесовок и даже для таких пароходов, как «Вера». Ветер в клочья рвал быстро несшиеся облака и сгущал их в темную тучу на горизонте. Барку, где Тягунов был шкипером, ветром и волнами бросало из стороны в сторону, затрудняя и без того медленный ход буксира.

С задней барки караванный Никита рычал в берестяной рупор:

— Эй, Ванька, Степка, чего рты разинули?! Не можете справиться? Нажимай на руль, да гляди в оба!.. — И, закинув на крышу будки рупор, Никита погрозил им увесистым кулаком.

«Вера» билась на широком плесе озера, еле-еле двигаясь к реке Порозовице. Вдруг, сквозь шум ветра и удары волн о борта, раздался треск. Барку быстро повернуло кормой в сторону. Громкий испуганный голос Ивана Тягунова донесся до бурлаков-водолизов:

— Ребята, помогайте! Руль сорвало... Что делать?

Из нижней железной петли вырвались крупные барочные гвозди, руль накренился и повис. Стена и Сенька бежали по палубе, с перепугу не зная, за что взяться.

Караванный вылез на крик из своей конуры и опять отчаянно заорал в рупор:

— Что делать? А выбросить всех вас трех среди озера. Не вам, дьяволам, барки водить... Лодыри, без руля-то как теперь?!

— Заткни рот, без тебя обойдемся, — горячась, крикнул Тягунов караванному и стал распоряжаться:

— Степа, тащи топор. Сенька, давай гвозди — сейчас всё поправим!

От хвостовой барки отчалила лодка. Подбрасываемый гребнями волн, нажимая на вёсла, Никита направился к тягуновской барке. Приближаясь, он увидел, как Тягунов и его подручный Глухарев поставили руль на свое место и теперь, стоя на самом борту кормы, держали за ноги над водой Степу Кошкина. Вся вниз головой, тот торопливо обухом топора вбивал в петлю руля гвозди.

— Сроните человека! Утопите! Леший один так навешивает руль, — обрушился на них с руганью караванный, цепляясь багром за тягуновскую барку. — Кто отвечать будет за вас, ежели он утонится? Я, скажут, недоглядел. Ух, нахлебники вы хозяйские!..

— У нас уже всё в порядке, — ответил Тягунов.

— Хорошо прибито, теперь даже не скрипит, — отозвался Кошкин, старательно выжимая промокшую рубаху.

Когда «Вера» вывела барки в Порозовицу, было уже за полночь. Бурлаки уговорили Никиту пристать к берегу, купить у рыбаков дешевой рыбы и поужинать. Бурное озеро осталось позади, дальше плыть спокойно. В каналах, на реках Ковже и Вытегре тихо, только быстротечные Шексна да Свирь заставят поволноваться шкиперов и караванных.

На берегу, под высокими, чуть зазеленевшими ивами, бурлаки и семь матросов с «Веры» разложили костер; в двух пузатых чайниках грели кипяток, а три котелка, висевшие над костром на таганах, были наполнены щуками и окунями. Пламя костра освещало бурлаков: одни были в каких-то затасканных теплых рубахах, другие — в ватных жилетках, третьи — вовсе без рубах, в полосатых портках и опорках на босу ногу.

Никита, повернувшись в сторону заозерской церкви «преподобного» Антония, стал молиться.

Запах разваренной рыбы торопил всех к ужину. Степа не утерпел, запустил руку в котелок и, вытащив крупную нельмушку, сказал:

— Рече господь ученикам: вилок нет, берите рукам! Караванный, крестясь, покосился на ребят:

— Не терпится... Подождите, мазурики, прости меня, господи!

— Ну, давай, Никита, благословляй. Хватит за Рыбкина поклоны отбивать. Рано богу льстить, может, в Питер одни щепки от нашего каравана приплывут. Ты бы лучше богу свечу с мачту пообещал, а доберемся — там видно будет, можно и копеечной свечкой отделаться, — посоветовал Тягунов караванному.

Поужинали. На вахте по очереди всю ночь стояли водоливы. Утром, чуть свет, Никита и штурвальный «Веры» уже покрикивали:

— Ну, ребята! Убирайте снасти, отчаливаем!

Полусонные люди, протирая глаза, выезжали в лодках на берег, снимали со свайника снасти.

Миновал караван лесные места и заливные пожни, стали встречаться на пути крепкие северные деревни. Серые мужицкие избы стояли вдоль речных берегов.

Иногда, встревоженные свистком «Веры», выбегали на берег взрослые и ребяташки. Мужики, помахивая шапками, кричали:

— Кто караванный?!

— Никита! Кругляков! — раздавалось в ответ с рыбкинских барок.

Никита выходил из своей будки, вежливо здоровался; ему здесь раньше случалось не раз проходить с барками.

Встречались на пути, на берегах Кирилловского канала, цыганские таборы. Выбегали цыганки и цыганята, пели и плясали, потешая бурлаков и выпрашивая деньги.

— Киньте копеечку, еще, еще попляшем...

— Хлебца нет ли? Еще попляшем!

Маленький цыганенок в широких штанах, в красной рваной рубахе, прискакивал, ковылял и пел, не переставая, одно и то же:

Мы цыганы — не поганы,
Наше тело — закоптело...

— Жизнь-то у них, пожалуй, вольготней нашей, — рассуждали на барках водоливы.

— Мы-то вот под Рыбкиным ходим, а они прямо под богом. Он один им хозяин. Не люди, а птицы небесные...

К вечеру караван усть-кубицкого богача Рыбкина прибыл на Шексну в Топорню.

Все четыре барки из Кирилловского канала были выведены на стрежень реки и поставлены в хвост многим дру-

гим шедшим с Волги баржам. Обычно первыми уходили с курсирующими пароходами те баржи, чьи хозяева были щедрее к агентам водного сообщения. А так как караванный Никита из скудных «путейских» средств смог сунуть агенту только один рубль, то пришлось каравану в Топорне стоять целую неделю. По подсчету Степы Кошкина, за эти дни шекснинские пароходы провели мимо них двадцать пять барж с нефтью, десять барж живорыбных, столько же с живым скотом, двести барж с мукой, да неизвестно сколько еще прошло барок с дровами и смолой. Считал Степа проходившие баржи просто из любопытства и от безделья: своя барка в путине успела замкнуть, воду не пропускала, и водоливам теперь нечего было делать.

Через неделю барки отчалили от Топорни. «Вера» ушла обратно к рыбкинскому заводу за очередным караваном. У нее не хватило бы сил поднять грузные тесовки против буйного течения Шексны.

Подошел более крупный и сильный пароход «Диана». Бойкие, привычные к своему делу, матросы быстро зачалили рыбкинские барки цинковыми канатами, и караван тронулся дальше. Скоро прошли богатое село Иванов Бор; остались позади монастыри, маячившие на гористых берегах Шексны.

Надвигался тихий, светлый весенний вечер. С берегов доносились унылая переключка кукушек и отрывистая перелетная коростелей. Солидно кричали стаи перелетных уток. Впереди короткая ночь, неуловимый рассвет, конец красочным берегам Шексны и, где-то неподалеку, — Белоозерский канал, возле действительно белого озера, откуда веет прохладой и сыростью...

VI

Волостной-старшина Соловьев, мясник-колбасник, здоровенный толстяк, и его помощник писарь Яшка, ростом чуть пониже фонарного столба, пухлощекый, словно гипсовый амур, — тот и другой разодетые, с лоснящимися, смазанными маслом волосами, сидели в усть-кубинском волостном правлении и посматривали в раскрытые окна на перевоз. Вдруг писарь перегнулся через подоконник и, заметив оживление на противоположном берегу Кубины, завопил, поперхнувшись от волнения:

— Едут, Павел Иванович, едут!..

Старшина был близорук, далеко, как Яшка, не видел, поверил ему и поспешно стал поправлять на себе сюртук, цепочку с начищенной медной бляхой и какую-то дедовскую медальку на затасканной ленте.

Из соседней, полицейской комнаты вышли на улицу урядник Киселев, за ним стражник Синявин. Покручивая усы и придерживая сабли, с волнением смотрели они на противоположный берег, где по дороге к Чиркову проскакали всадники в белых кителях.

Это были казаки-донцы, направленные в здешние края для наведения порядка. Стройно подъехали они к берегу. Человек тридцать сотских и десятских было выслано старшиной Соловьевым навстречу казакам. Смиренно сняв шапочки, встречавшие поклонились всадникам.

— Милости просим! Ежели к правлению, то заезжайте на паром, враз переправим, паром всех выдержит, — робко предложил казакам усть-кубинский старожил, торговец и начальник пожарной дружины Железков.

Казаки на это ни слова. Осадив лошадей, они оглядывались, дожидаясь отставшего от них исправника. Наконец казачий сотник, увидев скачущую тройку, распорядился:

— Двое на пароме с исправником, остальные — вплавь, гайда! — и указал нагайкой за реку, на волостное правление.

Перекинув стремяна через сёдла, казаки, стоя на хребтах коней, спустились с берега в темноводную Кубину. Казачьи кони, распустив по воде короткие хвосты, стремительно пересекали реку.

Сотские и десятские с удивлением смотрели им вслед и, покачивая головами, говорили:

— И ловкачи же!

— А лошади-то!

— Сами-то свирепы, что те волки...

— Затылки-то у них как налитые... Ткни гвоздем — на сажень кровища брызнет...

— Гляньте, у главного-то морда, усищи — батюшки! Ну и статуи!..

«И что только будет?» — с тревогой думали мужики. А через несколько минут они с любопытством и опаской разглядывали подкатившего на тройке взмысленных лошадей исправника Гантимурова. Тог в распахнутой шинели, тряся подбородком, вылезал из рессорного экипажа.

— Ничего, ничего, я один могу, — сказал он подоспевшим сотским. — Здравствуйте, господа! Что это, старшина вас послал? Так, так... — Окинул их строгим взглядом и, посмотрев на Кубину, улыбнулся: — Удадьцы-то мои уже под тем берегом! Вот он, казацкий способ передвижения!.. Издали смотреть — по водам словно пешне шествуют, копей под ними не видно, чудеса!.. А вон передний-то, никак это сотник Каменный? Уже на берег выбирается! Картина, ей богу! Молодцы!..

Сотские и десятские молчали, не осмеливаясь заговорить с подвыпившим строгим исправником. Под треньканье колокольцов тройку лошадей провели на паром. Туда же прошел и Гантимуров, окруженный сотскими. Два верховых матерых казака встали по сторонам экипажа. Когда паром достиг середины Кубины, из-за Лысой горы от рыбчинского завода словно вынырнул пароход «Гриша». Рыбкин ехал на нем встречать Гантимурова. «Гриша» и паром одновременно приблизились к берегу напротив волостного правления.

Совещание длилось всего несколько минут. Потом исправник в сопровождении Рыбкина, старшины Соловьева и урядника Киселева вышел на крыльцо и, показывая на столпившихся казаков, распорядился:

— Ты, Соловьев, устрой моих молодцов по квартирам в селе, пусть отдохнут, переночуют...

А Рыбкин, передавая две четвертных бумажки сотнику Каменному, сказал:

— Это им на водку. Пусть погуляют...

Затем втроем — исправник, урядник и Рыбкин — завернули за угол волостного правления и по трапу поднялись на палубу «Гриши».

С сумерек и до поздней ночи в доме Рыбкина светились люстры, звенела посуда и надрывалась трехрядка гармониста Смыслова, которого Рыбкин пригласил для увеселения гостей. Смыслов считался лучшим на весь кубинский край гармонным мастером и гармонистом. За хмельное угощение он готов был играть ночи напролет. Привычные сухие пальцы его без устали бегали по многочисленным клавишам самодельного баяна.

Рыбкин пил меньше всех, он то и дело предлагал исправнику всякие закуски, хвалил аршинного кубинского сига, лежавшего посреди стола на длинном узорчатом блюде.

— По-моему, сиг — это еще не лучшая рыба, — возражал исправник.

— Лучшая — это стерлядь, — подтвердил урядник. — Вот бы стерлядки еще! Жаль, у нас в Кубине она не водится.

— Ноткуда взяться ей здесь, — заметил хозяин. — С Волги через Шексну и Порозовицу ей сюда не попасть, — шлюзы мешают. А между прочим, стерлядь легко можно здесь развести, — добавил он, вытирая салфеткой потное лицо и стряхивая с бороды крошки.

— Каким же это образом? — поинтересовался исправник.

— Известное дело, по озеру каждое лето идут с живой стерлядью баржи на Сухону, на Двину и через Архангельск за границу. Взять бы, да нечаянным образом разбить баржу, вот вам и стерлядь для разводу, а годков через пять любви ее тогда сколько угодно!..

— Ай да Федор Иванович! Ну и способ нашли, — захохотал исправник. — Да это ж посягательство на чужую собственность! Это то же самое, что хищение ваших бревен катромскими и грибцовскими мужиками!

— Я пошутил, — усмехнулся Рыбкин. — Разумеется, это не способ.

— Давайте-ка вот что: вы тут можете кутить, а мне бы отдохнуть, — обратился к Рыбкину исправник, зевая и клоня голову чуть не до самого стола. — Я сегодня полсотни верст на лошадях проехал, устал, да, кажется, и развезло.

Хозяин немедля подхватил его под руку и повел в небольшую комнату, где стояла кровать, покрытая атласным одеялом.

— Ложитесь, господин исправник, почивайте, здесь вас никто не побеспокоит.

Гантимуров, ложась в постель, переходя на «ты», спросил Рыбкина:

— Вот что, я и забыл тебе в правлении сказать: поезжай-ка с нами завтра в Катрому и Грибцовщину. Увидишь, что я, Гантимуров, сумею показать мерзавцам, что значит вольничать и красть чужой лес!

— Благодарю, — согласился Рыбкин. — Тогда уж Бюргеру незачем ехать, я возьму у него сведения, собранные «фискалами», и отправлюсь с вами.

— Да, да, едем вместе. Бери и немца своего. Пусть он убедится в неизбежности наших устоев...

В два часа за полночь, — когда весь рабочий поселок рыбкинского завода спал и где-то слышалась только редкая петушинная переключка, — в доме Рыбкина начали гаснуть огни.

Урядник Киселев облюбил себе местечко для сна на кухне. Гармонь Смыслова враспяжку лежала под столом, ее обнюхивал толстый серый кот, а пьяного гармониста Рыбкин выпроводил в сени, где тот и заснул, прижавшись лицом к голому полу...

Казаки в тот вечер озорничали в Усть-Кубинском. Полсотни рублей, поднесенных Рыбкиным, вполне хватило на то, чтобы напиться допьяна. Вышибли кое-где окна, изрубили шашками палисады, а наутро, полусонные с похмелья, поили в Кубине коней, седлали и ставили их в ряд около правления.

Урядник, проснувшийся раньше всех, не дожидаясь выезда исправника, поспешил на лодке в село. Сотник Каменный статный детина, по выражению местных мужиков — «статуй», морщась, окидывал строгим взглядом подчиненных ему казаков.

— Ну и хороши, нечего сказать... Да я со стыда стою перед исправником! На что вы похожи!..

— Опохмелиться бы, ваше благородие!.. — слышалось в ответ. Но опохмеляться было некогда.

Сотник ждал условного сигнала с «Гриши» и, когда рядом с черной трубой показалась струя пара, командовал:

— По коням!..

С диким гиканьем и свистом выехал из села карательный отряд. Урядник и сотник Каменный скакали впереди всех.

VII

После описи «фискалами» в Катроме рыбкинский лес был стаскан в кучи. Ждали следствия и суда. «Бог не выдаст, судья не съест, — рассуждали мужики. — В тюрьме для всех нас места не хватит...».

Об исправнике и казаках слышали мельком, но не верили, что приедут.

— Чего ради? Без казаков разве некому рассудить?

И вдруг в то время, когда все взрослые обитатели деревни возили на скрипучих двуколках навоз и вилами раскидывали его по полосам, а в избах и на завалинках старухи пиячили ребятишек, — нагрянули исправник Гантимуров, урядник Киселев, кубинский богач Рыбкин и сотник Каменный с казаками.

Казацкие лошади были пущены в загороды щипать и топтать береженную крестьянами траву. Наскоро посреди деревни собраны были все катромские мужики. Робко и хмуро поглядывали они на казаков, на их черные с оловянными набалдашниками нагайки.

Гантимуров, опорожнив флягу коньяку, захмелел. Перед ним поставили на улице стол, крытый белой вышитой скатертью. Исправник важно уселся на табурет, сжав кулаки, облокотился.

Рыбкин расстегнул пальто, достал из кармана список и положил его на стол:

— Вот вам, господин исправник, точные сведения, кем и сколько похищено моего леса. Сюда же включена и самовольная порубка в моих лесных дачах.

— Разберемся! — пробасил Гантимуров, развертывая бумагу, и с презрением взглянул на мужиков. — Ну, ворье, у вас поясищы не чешутся? Так мы почешем!

Страх перед исправником и казаками держал на крепкой привязи мужицкие языки. Только седой старик в длинной полосатой рубахе взмолился:

— Пощадите, голубчики! Я прихватил всего пять бревешек тоненьких, на себе дотащил от самой реки. Я безлошадный, думаю — все тащат, дай и я прихвачу... Пощадите!..

— Помилуем, старик... Кто мало украл, с того мало и спросится...

Исправник не успел договорить, как старик уже упал ему в ноги:

— Спасибо, родной!

— За что? — оскалился исправник. — Так-то я тебя, сукина сына, думаешь, и помиловал! — Стукнув кулаком по столу, он с яростью закричал: — Встать приказываю и спустить штаны!.. Сотник Каменный, не жалей нагаек! Так вам лес воровать, а-га!

Тут же на улице, у стола, выбрали место для расправы. Два коренастых казака, один с плетью, другой с нагайкой, встали друг против друга. Мужики расступились.

Бежать некуда: казаки, готовые бить хоть насмерть, с обнаженными шашками, окружили сборище. Оставалось беспомощно ждать — будь, что будет.

— Пороть всех! — опять зарычал исправник. — Пороть по очереди, по списку!..

Лицо Гантимурова исказилось. Глаза налились кровью.

Рыбкин, подняв воротник, отошел в сторону, ближе к казакам. Урядник приблизился к столу.

— А ну, начинай с этого старика, — приказал Гантимуров. — Как фамилия?

— Пе-Петухов...

— Ложись!

Старик не лег, а свалился на луг. Вздрагивая, он пытался прикрыть рубахой оголенное тело.

Исправник провел глазами по списку, нашел фамилию Петухова, поставил карандашом против нее крест и сказал громко, чтоб слышали все:

— Петухов украл пять бревен, дать за это пять горячих!..

В воздухе свистнула нагайка, а затем вопль и стон. Пять ударов были отсчитаны. Кровавыми пятнами покрылась рубаха и прильнула к тощей спине старика. Он не в силах был подняться, лежал и тряс редковолосой головой, слезы текли по его лицу.

Один из казаков, схватив Петухова за плечи, оттащил в сторону.

— Следующий, Соколов Иван, украл тридцать бревен. Дать ему вперемишку столько же нагаек и плетей!

И, чередуясь с нагайкой, запела в воздухе узкохвостая, как змея, плеть. Мужики понуро смотрели себе под ноги.

Когда стали пороть девятого по счету, исправник выкрикнул:

— Приготовиться Румянцеву Василию! За двадцать бревен — десять нагаек, столько же плетей!

Дрожит Румянцев, руки-ноги трясутся, губы еле выговаривают:

— Ваше благородие, помилуйте!.. Разрешите.. Откуплюсь...

— Пороть! Не возражать! Для всех один закон! — Разъяренный Гантимуров ревел на всю Катрому: — Сыпьте ему еще! Еще! Пороть мерзавцев и смутьянов, всех пороть!.. Хватит этого! Начинайте десятого, — и посмотрел в список: — Вдове Ираиде Архиновой за восемь жердей...

Отставить! Бабу иначе накажем. Не казацкое дело бабу хлестать... Взять деньгами штраф—по полтине за жердь!.. Следующий Прохор Михайлов — восемнадцать бревен!..

Список казался неисчерпаемым. Некоторые из катромских мужиков, тяжело дыша, отлеживались на траве у изгородей и стонали. Выпоротого с неменьшим усердием Румянцева исправник заставил расписаться на листе бумаги в том, что он, Румянцев, в память своего наказания за воровство леса жертвует сто рублей на благотворительные сборы имени императрицы Марии Федоровны. Румянцев дрожащей рукой подписал это условие и, не взглянув ни на кого, нахлобучив шапчонку, шатаясь, направился к себе в избу.

Последним в списке значился катромский крестьянин, старик лет шестидесяти, Петр Тягунов, отец Ивана Тягунова, ушедшего нынче шкипером на рыбкинских барках. Услышав фамилию Тягунова, Рыбкин насторожился. Подойдя к месту, где надлежало пороть Петра Тягунова, спросил его:

— Не твой ли сынок у меня бурлачит?

— Поди-ка, мой. Иваном звать, — ответил старик, не глядя на Рыбкина.

— Этого покрепче! — подсказал Рыбкин казакам.

Взглянув пытливо исподлобья на старика Тягунова, исправник спросил:

— И ты, старина, воровал, да говорят еще первым забиякой слывешь?

— А как и другие, господин начальник... нужда у всех нас в лесе, а тут мимо брёвна по реке несет, бурей раскиданные, как не взять...

— «Как не взять!» — передразнил урядник. — А клейма на бревнах? Не видишь, что эти брёвна Рыбкина, а не твой!..

— Клеймо не помеха, — отвечал Тягунов. — У меня вон баня ныне срублена, никакого клейма на бревнах не было, лес покупал, а всё равно говорят: не твой лес, с реки краденый, рыбкинский...

— Так ты еще воровал да на баню хозяйский лес портил, на баню-ю?! Дать ему баню! Пор-р-роть! — заревел пьяный исправник и, встретив невозмутимый взгляд Тягунова, пришел в полное бешенство.

Старик оказался не из трусливых. Он, словно в насмешку над исправником, спросил:

— Сколько прикажет мне всыпать выше высокое отродье? Но знай, сжали до вас так черед дойдет, мы пороть не станем, а прямо, как вшей поганных, к ногтю!..

— Так ты угрожать?! Сотник Каменный! Дай мне плеть, нагайку, я сам его... сам запор-рю!..

Дикий голос Гантимурова раздался далеко за околицей. На минуту всё стихло. Замерли мужики, удивленные смелой речью Петра Тягунова. В стороне возле изб слышался рев баб и ребятишек...

Казаки подвели Тягунова к столу, свалили на землю. Нагайка с оловянным грузилом оказалось в руках Гантимурова. Он, стиснув зубы, бешено наскочил на лежавшего старика, изо всей силы размахнулся и неловко ударил его по плечам. Кровь брызнула на шинель истязателя.

Твердый и терпеливый, Петр Тягунов, лежа ничком, повернул к исправнику голову и чуть слышно сказал:

— Негодай! Пороть не умеешь... Смотри-ка на шкуру свою, она залита кровью!.. Эй, Катрома, и ты, Грибцовщина, припомните этого гада!.. Отомстите!..

Дерзкие слова крестьянина так ошеломили исправника, что он выронил из рук нагайку; почти на лету подхватил ее сотник Каменный.

— Сколько прикажете, господин исправник?

— Пороть, пока не сохнет!..

Пьяного исправника, свалившегося возле стола в припадке бешенства, казаки положили на скатерть и вчетвером унесли на руках в избу к десятскому.

Завершив свое подлое дело, гантимуровцы под вечер оставили Катрому. Возбужденные, оглашая окрестность похабными песнями, ехали они в сторону Грибцовщины...

Через два дня соседи и сородичи хоронили у приходской церкви «скоропостижно скончавшегося» Петра Тягунова. Остались после него невестка — Иванова жена и малыш — внучонок Петька...

Катромские и грибцовские крестьяне отвозили лес к Кубине, сбрасывали с берегов. Много ли этих бревен попало на рыбкинский завод — неизвестно. Известно лишь то, что в запани на Кубине подрубленные то там, то тут рвались снасти, и лес рыбкинский, никуличевский и ганичевский в бурную ветреную непогоду уносило и раскидывало по озерному побережью. А потом, когда разыгралось солнечное сухое лето, в рыбкинских участках и удельных лесах начались обширные пожары...

VIII

С похмелья немного запоздали. Можно было бы ответить раньше, с зарей, но люди на «Диане» и на барках проспали. Тронулись, когда в прибрежной деревне пастух выгонял за околицу стадо коров, наигрывая в берестяной рожок что-то жалобное, понятное только ему да коровам.

Там, где Шексна делает крутой поворот к Белому озеру, где слышится неумолчный шум речных переборов и поверхность реки — сплошная пена, в этом месте приютилась пароходная пристань, называемая Чайкой. Дальше, за тяжелыми воротами шлюза, прямой линией тянется возле озера Белозерский канал. Очереди барж в Чайке не меньше, чем в Топорне.

Прибыли кубинские бурлаки сюда в субботу. До отхода каравана в Белозерск пришлось ждать два-три дня. От кого-то узнали бурлаки, что в деревне Гора, по соседству с Чайкой сегодня будет «подвенешная» — так здесь называют вечер у невесты, девичник, накануне венчания. Весело тронулись бурлаки на гулянье в деревню Гору. Пошел и Иван Тягунов со Степой Кошкиным и Сенькой Глухаревым. Непрочь был сходить погулять на «подвенешную» и сам караванный Никита, да постыдился седой своей бороды.

— Вы уж ступайте, а мне, старику, только и надо, чтоб с полуночи вахта была. Здесь народ шальной, того гляди в потемках доски расковыряют, — напутствовал он бурлаков.

— Ладно, вернемся.

Как только взвизгнула гармошка, Тягунов вприсядку пошел впереди артели. Еще издали, заметив развеселых бурлаков, девки и ребята бежали с деревенской улицы к отводу¹. Ребята из белозерских деревень косо посматривали на пришедших:

— Эти боевые, пожалуй, девчат к себе переманят!..

— Ладно, без драки обойдемся, — вечер не век, погуляют да уплывут...

Девки старались прихорошиться, про бурлаков шептались с ужимочкой:

— Скрута-то на них рваная, да сами-то ловки... Лучше нашинских белозерских увальней. — И, чтобы понравиться усть-кубинским бурлакам, голосисто затягивали частушки:

¹ Отвод — ворота у околицы села.

Ой, шаль пухова, шаль пухова.
Голубая, клетками, —
Ой, как жалко того дролю.
Что кормил конфетками...

А бурлаки, как бы назло местным ребятам и под задор девкам, горланили на всю деревню:

Мы, бурлаки и матросы,
Не гляди, что наги-босы,
Кто наступит на носки, —
Тех изрубим на куски!

— Вот какие они, прямо не подходи!

— От греха подальше, не связывайтесь с ними, девахи, — говорили бабы дочерям.

Мужики — те угадали:

— Сразу видно — из-за Кубенского озера в рыбкинских корытах приплыли...

В большой крестьянской избе людей полно, однако бурлаки протолкались. Послышался говор, нареканья:

— Своим места не хватает, а тут чёрт бурлаков принес...

— Тише! — зашипел кто-то под полатями: — Марфуша-невеста с причетом выйдет.

— Сейчас выйдет, воп уж под богородицей свечу засветили...

Отец невесты, рослый мужик с расчесанной бородой, сел под образа в передний угол. Он был похож на бородастого угодника, стоявшего на божнице рядом с девой Марией.

Опустив платок на лицо, невеста вышла из горницы в сопровождении подруг, упала перед отцом на колени и завывала:

Уж ты свет мой, родименький батюшка,
Ты зачем да распрогневался
На меня-то молодешеньку?
Я жила у тебя, батюшка,
Да потише ключевой воды
И пониже шелковой травы.
Не сусек у тебя хлеба высла,
Не колодец воды выпила!
Хоть купили вы мне скруту добрую,
Не к лицу она молодешеньке,
Не к лицу цветно платьице,
Не в пору, да не во времечко
Меня отдали во замужество...

— Ничего, занозистая девка! — говорили посторонние.

— Будешь занозистая, не по любви выдают; так отцу захотелось, — свою дочь за хромого десятника пристроить. Насильно запросовали и ее не спросили...

— Нету нам, бабам, волюшки, — послышался женский голос. — Не за человека выдают девку замуж, за богатство. У жениха изба под крашеной крышей, три коровы.

— Не нажимайте оттудова, от дверей, — изба не калоша резиновая, растяжки не даст, — расталкивая пришедших и вытирая пот с лица, сердито распорядился невестин отец. — Идите, теперь на улице у рундука попляшите, повеселите мою Марфушу... Да нечего вам языки чесать. Захочу, так свою дочь за быка выдам. Слыхано ли дело — препятствовать отцовской воле!..

— Правильно!

— Чего она зря нюни распускает? Чем десятник не жених? Да он через три года подохнет, всё добро ей достанется. И выберет тогда Марфушка жениха на свой вкус...

— Пусть только не ошибется: лучше кубинских бурлаков не найти! — вмешался Тягунов. — На тот случай мы вам можем уступить вот — Сеньку Глухарева.

— Я не прочь к чужому добру подъехать, — ухмыльнулся Сенька. — Пусть невеста на меня виды имеет.

— Вот дураплясы, вот трепачи!.. — резко оборвал их отец невесты и начал выталкивать гостей на улицу.

Бурлаки, не стесняясь своего неприглядного вида, хоровадились с нарядными белозерскими девками. Тягунову изгрустнулось, он уселся в одиночестве на бревнах, закурил и, изредка посматривая на хоровод, вспоминал свою недавнюю холостяцкую молодость со всеми ее шалостями. Вспомнил он, как гулял в праздники с двухфунтовой гирей в кармане, как приходилось иногда этой гирей на сыромятном ремешке отмахиваться от пустораменских ребят. Вспомнил, как потом с Ефросиньей, — так звали его любимую девушку, — уходил он от праздничных, веселых и драчливых гулянок на цветистые заполоски овсяного поля и просиживал с ней с вечера до восхода солнца. О чем только в эти теплые и светлые летние ночи не говорили!

И вспомнил Иван Тягунов такой разговор с Фросей: «А вдруг да твой отец вздумает тебя не по любви за другого выдать? Тут как?..» — «А ты меня тогда украдкой забирай... И никакой свадьбы не надо, поп как-нибудь округит и ладно... Да я ни за кого, кроме тебя...».

После того разговора прошло пять лет. В солдаты Тягунова не взяли: единственному сыну во время набора предоставлялась льгота. Его зачислили в запас, ратником второго разряда. Прожили четыре года в нужде, а грубого, обидного слова друг от друга не слышали. За это время родился сынок. Назвали его Петькой — в честь деда, чтобы старику любо было... «Как-то они там без меня? — думал Иван. — Наверно, навоз вывезли. Отец изгороди правит, а Фрося, если делать нечего, плетет кружева к базарному дню, да Петькой тешится... Добраться бы до Лодейного Поля да деньжонок послать им по почте десяточку... Телку купить можно, а там год-два, из телки — колова...»

Запахавшийся после пляски, подсел к Тягунову Степа Кошкин.

— Дай свернуть цыгарочку.

— А когда у тебя свой табак будет?..

— Ну, ну, не скупись... До Белозерска — рукой подать, доплывем — сразу фунт возьму и задымлю до Питера.

Закурили. Помолчали. В вечернем полумраке кружилась девичий хоровод. Наперебой надрывались три гармошки. Песни-коротушки, шум-гомон, уханье...

— Чего ты тут один на бревнах-то ухоронился? — спросил Степа.

— Да так... о житье подумал малость.

— Чего думать о житье нашем? Наш брат бурлак ни рыба ни мясо. С брюха — мужик, с хребта — вроде бы хозяйский работник. Думы — в семье дома да на полосе, а руки-ноги — у Рыбкина на барке. Такая жизнь — хоть ложись, хоть стоя помирай. Никакой надежды... Прогонит Никита с барки за какую промашку, так и ступай с березовым кондуктором на своих двоих, да кормись христовым именем. Жестянка, не жизнь... А дома что?.. Один кусок на пять глоток — веселое дело! Нет, уж лучше ни о чем не думать...

— Так нельзя, — возразил Тягунов, — и не хотел бы да думается. Твое дело холостяцкое, а у меня — семья.

— Не женился бы.

— Это не резон и не выход. Природа своего требует.

— Ишь ты, природа... Ну, а мне плевать на всякую природу. Нашлось бы местечко в Питере, устроился бы там хоть канавы копать, хоть песок в тачках возить, хоть в дворники, — на любое дело. В городе опять же веселей.

Правильно говорится, что человек в людях лудеет, а в лесу лесеет.

— Это верно, — согласился Тягунов, — самому доводилось видеть фабричных, — совсем другой народ. Рабочий слово скажет, как гвоздь вобьет к месту, и не вытащишь. А всё оттого, что они вместе. А наш брат, мужики, и разговоры заведут, так кто про Фому, кто про Ерему, не знаешь, кого и слушать, кто куда — в разные стороны тянут...

— Да, фабричный — он не такой, — поддержал Кошкин, — вот их в позапрошлый год перед Зимним дворцом стреляли, а они свое: чуть что неладно, забастовка!.. Или возьми, к примеру, тех же ссыльных: в тюрьме человек посидел, на высылку пошал, ходит хмурый, будто язык потерял, а как схватится спорить, кого угодно словами захлестнет и всегда прав окажется. — Помолчал Степан, бросил догоревший окурок, притоптал лаптем и, направляясь к хороводу, сказал: — А тут вот девку насильно замуж выдают. Попробовали бы так фабричную!.. Деревня, так она деревня и есть, будто яма...

IX

Из Чайки, через обшитый бревенчатым срубом шлюз, через двое тяжелых, медленно открываемых и закрываемых ворот, караван вышел за пароходом в Белозерский канал. Легко и привольно идти баркам по каналу. Он ровен и прям, как игла! Береговой вал, местами обросший кустарником, местами обсаженный гладкоствольными, кудрявыми березами, отделяет широкое, но мелководное озеро от голубой ленты канала. В ветреную пору озеро бушует. Горбатые, вихрастые волны вздымают, переворачивают песчаное дно. Непогодь на озере мешает рыбакам ловить белозерского снетка — лакомую рыбешку, пользующуюся большим спросом в столице. Но ни ветер, ни волны не мешают караванам идти по тихому и ровному каналу.

Бурлаки-волгари на своих прочных и нарядных баржах важничали и, обгоняя рыбкинские тесовки, насмехались:

— Эй, корзинщики! Берегитесь, как бы вашим дощаникам брюхо не распороть.

— А вы осторожней, попробуйте задеть — на речную полицию нарветесь... — отвечали с рыбкинских барок.

Постоянные задержки в бурлацкой путине беспокоили караванного Никиту. Чем скорей доставить на место барки, тем для него выгоднее. И если кто-нибудь, сочувствуя Никите, спрашивал его:

— Скоро тронемся-то?

Он, хмурясь, отвечал:

— Не спеши, выше своего пупа и с разбегу не прыгнешь..

— Оно верно, только другие-то барки нас обгоняют да обгоняют.

— Нам почету мало, — ворчал Никита, — не позволяет речное начальство впереди всех высовываться. Хлеб да нефть без очереди пропускают. Ладно, в свое время и мы придем...

Настал конец июня, а барки прошли только половину пути. Однажды, незадолго до отхода к Вытегре, в тихий ведренный день, который всех плавающих всегда манит на берег, шкипер Тягунов с неразлучным Степой Кошкиным лежали на берегу под шелестящими осинами.

С ними было еще человек пять бурлаков с удельного великокняжеского завода. Новенькие карты, про которые говорят, что муха на них поскользнется, ходили по рукам бурлаков. В самый азарт картежной игры на реке показался караван с тесом. По большим, намалеванным смолой буквам «Ф. Р.» бурлаки узнали, что догоняет их в путине очередной караван с завода Федора Рыбкина.

— Ого! Наши, кубинские. Встретить бы, может, с Катромы кто есть? — проговорил Тягунов, перекладывая деньги из фуражки в карман.

— Выигрыш унести охота?! — злобно проговорил один из проигравшихся бурлаков с удельного завода. — Попробуй, унеси. Посмотрим, чья возьмет!

Игра продолжалась. Вперемешку с руганью слышались отрывистые возгласы:

— Ставь деньги! Деньги ставь!..

— Возьми рубаху за полтину...

— Скидывай, поносится.

— Туз не шестерка, — на такую карту и проиграть не жалко...

И проигравший на туза стаскивал с себя рубаху и подставлял солнцу голую спину, дюжую, забуревшую, как ольховая доска.

Прибывший караван причалил в хвост первому рыбкин-

скому каравану. К тому месту, где бурлаки увлеклись картежной игрой, неторопливо подошел Сенька Глухарев. В руках у него письмо.

— Нашему шкиперу попутчики привезли. Что-то у тебя, Ванюха, говорят, дома пеладно...

— Письмо? С чего бы это? — удивился Тягунов. — Ну, подавай, не стращай, — серьезно проговорил он и положил бубнового валета на траву.

— Письмо? Что бы значило? Давно ли из дому, а тут письмо, — ворчал Тягунов, вскрывая слегка дрожащими руками заклеенный тестом конверт. «Может быть, изба сгорела?» — почему-то подумал он.

— Ну, играй, чего тут с письмом, успеешь прочитать, не иначе твоя баба овдовела, вот и пищут, — торонил банкомет, подавая Тягунову вторую карту: — За всё стукнешь? Чуешь, баба у тебя овдовела, ха-ха-ха! Как это могло случиться? Сам жив-здоров, а баба овдовела, — твердил банкомет, довольный своей выдумкой.

Но никто не смеялся. Тягунов взглянул на первые строчки письма, на поклоны и стал читать дальше: «...Еще уведомляем тебя, Иван, свет-Петрович, что за пойманные на рке брѣвна приезжали казаки с исправником и пороли наших катромских и грибцовских мужиков, а батюшку твоего так отодрали нагайками и плетками, что душу богу тут на улице отдал, царство ему небесное! И еще уведомляем, у многих сплавщиков отцов выпороли и в Катроме, и в Грибцовщине. Наши ребята страсть обозлились за это на Рыбкина, и кто-то в запанях пересек снасти, сторожа не усмотрели, и много рыбкинского лесу унесло в озеро, и теперь его ловят заозерские мужики. Навоз весь мы вывезли. На похоронах у отца народу было много-премного. Из Онаньина и Канского сродственники были, а могилу выкопал твой тесть Макар. Не горюй, если застанет письмо в путице, не ворочайся, а ступай до Питера, береги заработанную копеечку и привези Петьке на рубашонку ситчику, супруге твоей Офросинье чего-нибудь, ну и после того до свидания. По неграмотности твоей родни писал письмо сосед твой Румянцев Василий».

Всё из памяти Тягунова куда-то исчезло. Встал он с места, не взглянув на карту, поднял картуз с травы и, ничего не видя перед собой, как в тумане, пошел берегом на барку. А там ничком сунулся на дощатые нары, на подостлашное барахло и, вспоминая отца, тихо зарыдал.

Потом на барку вместе с Сенькой и Степкой пришли земляки-бурлаки. Они подробно рассказали о кровавом происшествии в Катроме. Тягунова успокаивали:

— Дома без тебя управятся по хозяйству, чего тут тужить?..

— Давай, Иван, поминки справим. Помянем старика, — предложил Степа, — глядишь, и сам забудешься.

— Помянем, ребята! — согласился в отчаянии Тягунов и поднялся на нарах. — До отхода барок успеем, а деньги у меня есть выигрышные.

Много шкаликов было опорожнено. Сенька не раз выезжал с барки на берег и ходил в конец села к шинкарям за вином.

Во время выпивки вышел у Степы спор с караванным.

— Кто виноват, что мужиков пороли? — спрашивал захмелевший Кошкин.

— Они сами — мужики. Зачем чужой лес воровали, — не задумываясь, отвечал караванный.

— А вот не они! Да ведь будь свой лес у мужиков — зачем тогда им брать? Живут люди в лесу без дров. А строиться надо? Надо. Отопляться надо? Надо. А лес у мужика где? Рыбкин да Никуличев все дачи откупили. Мужик кругом в лесу, а древесинку тронул — за то пагайка, суд, острог. А если смотреть с самого корня до вершины, то тут и царь виноват окажется, — продолжал Кошкин. — Большую власть дал начальству издеваться над мужиком и рабочим.

Неизвестно, до чего договорился бы Степа, если б на него строго не зыкнул караванный:

— Довольно! Запрещаю про царя говорить! Шантрапа, голь ты этакая! Что, у царя-то, по-твоему, сто глаз должно быть? Где ему за всем усмотреть, кого дерут, кого порют?.. А ты, Ванька, не горюй, помани отца еще в Питере. Панихиду закажи у Спаса на Крови...

— Да ну его к чёрту! — вмешался опять Кошкин. — Знаю я этого Спаса — в Питере церква новая. В прошлом году с бурлаками туда мы приворачивали. Были мы в опорках, оборванные, нас полицейский за десять сажений к дверям не допустил. И ты не дойдешь. На том месте, Ванька, царя когда-то бомбой шлепнули, оттого и Спасом на Крови церковь названа.

— Я тебе, Ванька, свою одежду дам напрокат, а сходи всё-таки, — сочувствуя горю Тягунова, говорил караван-

ный. — Сходи, помолись, легче будет, и отцу на том свете не так тяжело...

— Нет, поминать — так поминать по-настоящему, — настаивал на своем Кошкин. — Запорол у Тягунова отца кто? За что? Ищи концы да оплачивай! Пусть старик в гробу усмехнется да скажет: «Спасибо моему Ваньке». Вот как надо поминать!..

Кончились пьяные поминки. В раскрытую дверь дул с реки свежий ветер. Степа и Сенька, лежа на нарах, лениво спорили — кому утром раньше вставать и выкачивать воду.

Х

В Катроме, Грибцовщине и в кубинских краях после порки мужиков стали появляться политические ссыльные, проживавшие около Кадникова и Вологды. Прослышав о происшедших здесь событиях, они выспрашивали сезонников на сплаве, лесопильщиков на заводах; ходили по деревням и там беседовали с народом. А потом на лесопильных заводах находили печатные листовки. В них говорилось про царя-кровососа, про живоглотов заводчиков и фабрикантов, подкупающих полицию и казаков для расправы с крестьянами. Тогда десятские и сотские собирали мужиков в правление на волостной сход; старшина Соловьев нараспев прочел строгую грамоту губернатора Хвостова: чтобы всех смутьянов, сеющих явно и тайно крамолу против государя и устоев, задерживать и приводить к уряднику.

А потом прошел слух, что для увещевания православных придет в Усть-Кубинское святой жизни человек — сам протоиерей Иоанн Кронштадтский. Сначала слух, а вслед за слухом не замедлил явиться «чудотворец», популярный в ту пору в мещанской среде ханжа и мракобес.

На лесопильных заводах Рыбкина, Никуличева и Ганичева рабочие выкатывали на берег остатки заготовленных бревен. Давно ушли в Питер последние караваны с тесом. В окрестных деревнях люди готовились к сенокосу, точили косы, чинили грабли, вилы, смазывали тележные колёса, просушивали заплесневелые стены сеновалов.

В канун сенокоса колокольный звон возвестил о прибытии протоиерея. На мысу, где Рыбкин нанял бурлаков и сплавщиков, собрался народ. Около церковной паперти, у входа, с двух сторон лежали десятки калек, хромых, без-

ногих, слепых и просто придурковатых, чаящих исцеления от недугов. Тут же, на возвышенном месте, прислонясь к ограде, столпились монахи, приехавшие от Спаса-Каменного, от Семигородней богородицы и из Лопотова монастыря. В рясах и подрясниках, в скуфьях и камилавках, в черном одеянии они были похожи на стаю грачей, слетевшихся на крестьянское жито.

Белый, сверкающий на солнце пароход «Николай Чудотворец» свернул с озера в устье Кубины. И когда он стал приближаться к селу, народ бросился к берегу.

Жители прибрежных деревень, перегоняя друг друга, выезжали в просмоленных лодках на речное плесо. Сотни лодок, переполненных богомольцами, со всех сторон окружили медленно двигавшийся пароход.

— Покажись, батюшка!..

— Покажись, заступник наш!.. — слышались голоса с лодок.

На палубе, в черной рясе с серебряным крестом на груди показался протоиерей. Заслонив ладонью глаза от солнца, он прошел на носовую часть, где на помосте в ряд стояли семнадцать пожарных ведер, помеченных черными буквами, составлявшими название парохода. Бледное, испитое лицо протоиерея озарилось блаженной улыбкой. Легкий ветерок разведал пряди седеющих волос. Взглянув на лодки, он простер руки и благословил встречающих:

— Мир вам, братья во Христе!

Лодки вплотную облепили пароход. Протоиерей, взметнув широким рукавом, произнес:

— Православные!..

На лодках притихли. Чуть слышно скрипели вёсла в ключах, да медленно плескались плицы пароходных колес.

— Рабы божии! — продолжал свое слово протоиерей, — где бы вы ни находились — в родном ли доме, под надежным кровом, в кругу чад и домочадцев, на утлом ли судне — среди бушующих волн Кубенского озера, под открытым ли небом в непогоду, в стужу морозную, — да хранит вас животворящий крест господень...

Проходя мимо рубки в свою каюту, протоиерей велел капитану дать полный ход...

В белокаменной церкви на Кубинском мысу состоялось многолюдное млебствие, после которого приезжий протоиерей разоблачился в алтаре, сняв с себя парчовую

ризу, и в шелковой рясе взошел на амвон. Встав за аналой, он обвел глазами толпу молящихся и начал проповедь. Говорил он вкрадчиво, напизывая слово за словом, будто плел невидимую, из тончайших нитей сеть. Притихшие богомольцы, как мухи, запутались в этой умело раскинутой словесной паутине. Они стояли, не шевелясь, тесно прижавшись друг к другу, сдерживая дыхание, чтобы не нарушить благоговейной тишины.

— Трудную пору переживает люд православный, — говорил проповедник, — множеством тяжких прегрешений прогневали вы бога... Мне ведомы обиды ваши. До меня доходят ропот ваш и жалобы. Но, братие, Иисус Христос учил нас прощать врагам нашим. Тому же учат нас и апостолы... — Проповедник передохнул и, сурово нахмурив брови, показывая перстом на толпу, продолжал строго: — Иные из вас наказаны за воровство и лихоимство. Вы забыли господню заповедь «не укради», кинулись, как псы голодные, красть лес, принадлежащий господину вашему. Вас наказали телесно, и вы должны за то благодарить бога, ибо не будете наказаны на том свете. Претерпевший на земле, спасен на небе... Нечистый попутал вас, православные! . Это он посылает к вам приспешников своих, сеющих среди вас смуту, внушающих злые мысли. Они, антихристовы слуги, восстают против государя нашего и против церкви и именуют себя социалистами... Не слушайте их! Царь и пророк Давид сказал нам в назидание: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста...»

Во время проповеди сквозь толпу протолкался вперед катромский мужик Васнлий Румянцев. Он упал на колени перед аналоем и, выждав паузу, тихо спросил:

— Праведный отче, заступник наш и ходатай, позволь слово молвить?..

— Встань и говори.

— Скажи, батюшко, знает ли царь, как нас притесняют? Знает ли он, что мы живем на земле, а земли почти не имеем? Лесу — тоже. А когда берем у тех, у кого этого добра тысячи десятин, то нашего брата и смерть запааривают!.. Можно ли его величеству жаловаться на притеснителей наших?..

— Раб божий, не знаю, как вас звать по имени, — проговорил протопоп, глядя на вопрошавшего и поправляя на себе массивную серебряную цепь с распятием.

— Василий я, — робея, сказал крестьянин из Катромы, — меня самого хлестал и избивал исправник с казаками...

— Раб божий Василий, вижу, ты правды святой добиться хочешь. Всякий истинно верующий должен стремиться к правде. Но, чтобы просить царя земного, надо дойти до него, а сие не всякому дано. Иное дело жаловаться царю небесному, ему единому жалуйтесь и просите его, если не мешает вам тьма грехов ваших. Бог всем есть главный судия, он простирает волю свою и на помазанника своего — царя земного.

Румянцев выслушал, тяжело вздохнул и, пятясь в толпу, пробормотал:

— Все они в одну дудку дудят. Кто богат, тот и прав...

Под вечер «Николай Чудотворец» отвалил от берега. Село опустело. В разные стороны, тропами и дорогами, расходились богомольцы по своим деревням.

XI

Вот уж рыбкинские барки миновали Десятинские шлюзы, прошли через вытегорские волости с древними деревянными скитами — здесь когда-то скрывались от гнева Петра Первого упрямые старообрядцы. Дальше по Онежскому каналу и быстротечной Свири барки двигались к Ладожскому озеру, обрамленному с южной стороны каналом. Между делом бурлаки, сидя на тесовых крышах барок, любовались то берегами, заросшими густым хвойным лесом, то большими селениями, разбросанными по берегам рек и каналов. За Лодейным Полем и Ладогой внимание бурлаков привлек Шлиссельбург — старинный город Орешек. Над железными воротами крепости распростер громадные позолоченные крылья двуглавый орел. У ворот стража. Над стеной виднелись головы часовых в форменных фуражках и поблескивали штыки винтовок.

Бурлаки молча посмотрели на внушительные стены и башни тюрьмы и многозначительно переглянулись. Когда город и крепость остались позади, Тягунов, тяжело вздохнув, сказал водоливам:

— Вот где за матушку-правду пропадают хорошие люди!..

— Да не только здесь, — мрачно посмотрев на кре-

пость, подтвердил Степа, — в Вологде три острога ссыльными да пересыльными набиты. Эх, времечко невеселое...

Вскоре перед рыбкинскими сплавщиками развернулась во всей красоте оживленная судоходством Нева. Иногда караван тащился возле самого берега, где по старым, протоптанным бурлаками тропам шли в Питер заниматься на разные работы люди из Каргополья, Олонца и других северных уездов. Мрачные, усталые, многие в стоптанных лаптях, с берестяными кошёлками на согнутых спинах, прошли они от родных деревень сотни верст. Теперь осталось уже недалеко до Питера, где, авось, каждому по-своему улыбнется удача.

— Эй, эй! Дяденька шкипер, подвези на барке до города. Подвези, не помешаем...

— Проситесь у караванного, он у нас старший! — отвечали с барок.

Никита, с расчесанной бородой, в распахнутом пиджаке, стоял на задней тесовке и, довольный, что его караван благополучно приближается к Петербургу, весело улыбался:

— Что ж, можно и подвезти. Соберите по пятаку с человека на вишишко бурлакам... Как-никак до города еще верстушек полсотни осталось...

И вмиг те, у кого были пятаки, на коротком привале стали подсаживаться на барки. Набралось человек по сотне на судно. Преобладали парни и девки — лишние рты в полуголодных северных волостях. Это были не унывающие и ни перед кем не робеющие выносливые северяне. Когда они разместились на крышах барок, Никита в берестяный рупор крикнул:

— А ну, пассажиры, запевайте! Кто во что горазд...

С первой барки понеслась над Невой многоголосая дружная песня:

Как на матушке, на Неве-реке,
На Васильевском славном острове,
Молодой матрос корабля спасла
О двенадцати тонких парусах...

Песню подхватили на всем караване. На барке у шкипера Тягунова в чьем-то холщовом мешке пискнула гармонь, потом ее, затасканную, с выцветшими мехами, извлекли на свет, и под простецкую игру Сеньки Глухарева посыпались на разные голоса девичьи коротушки:

Ох, милой барку потянул,
Платочком беленьким махнул:
«Прощай, милая моя,
Через месяц буду я...» —

пропела одна из девушек, а другая продолжала на тот же лад:

Не кукушечка кукует,
Не соловушка поет, —
По мне миленький тоскует,
В Питербурхе он живст...

Дайте паспорт, я уеду,
Милые родители,
Не хочу в деревне жить —
Коль миленок в Питере...

Но, видимо, не один «миленок» вынудил девушку-певунью покинуть голодную каргопольскую глушь. Еще один печальный девичий голос присоединился к певуниям:

Славной, славной город Питер,
Николаевский вокзал;
Не сама туда я еду —
Мне-ка голод приказал.

Тягунову взгрустнулось. Мрачные думы о домашних делах, о смерти отца овладели им. Он ушел в тесовую будку — жильё водоливов. Положив под голову подушку, набитую паклей, Иван растянулся на голых дощатых нарах и скоро задремал. И приснилось ему, будто он дома, у себя в Катроме. Жёнка Фрося, размахивая полотенцем, выгоняет из избы мух в раскрытое окно. Сынишка Петька в короткой рубашонке ползает по полу, играет, катая из угла в угол круглое днище от шайки. А сам Иван будто бы из основного кряжа делает крест отцу на могилу. Петька подползает к нему и, подавая донышко от шайки, серьезно, не по-детски, говорит: «Тятя, припей к дедушкиному кресту, красиво будет...» Иван берет у сынишки круглую дощечку, прибывает посередь крестовины и углем пишет: «Под сим крестом покоится раб божий, отец мой Петр Тягунов, убитый казаками...» Потом несет крест на себе до погоста, и все встречные снимают шапки, кланяются. А крест тяжелый, давит плечи и пригнетает к земле...

Уткнувшись лицом в подушку, Тягунов тяжело стонет и сквозь сон слышит чей-то голос, но никак не может сразу очнуться...

Степа Кошкин трясет его за плечи и говорит:

— Ну и уснул! Как камень... Иван, очнись, речная полиция на барках паспорта проверяет...

Несмотря на многолюдье, на крыше барки было тихо. Двое полицейских требовали у всех документы. Проверка шла неснешно, потому что у многих паспорта были прибраны бережно и далеко: у одних — завернуты в тряпки, у других — зашиты под подкладку, у третьих хранились на дне сундучков и берестяных нестерок.

Тягунов, услышав над собой голос Кошкина, проворчал, не открывая глаз:

— А чего же им нас тревожить? Наши паспорта все у караванного, пусть у него и спрашивают...

Приподнявшись, он заметил сидевшего в будке незнакомого человека из проезжих. Уж не Степан ли привел, чтобы скрыть от полицейского глаза?

— Беспаспортный, что ли? — негромко спросил Иван незнакомца.

— Паспорт у меня есть, — ответил тот. — Просто хочу у вас в каюте отсидеться... Не могу спокойно смотреть на этих «архангелов». Можете за меня не бояться.

— Нам что!.. Первый раз тебя видим. Сиди, — хладнокровно согласился Тягунов и вышел на крышу барки. Полицейским, проверявшим документы у проезжих, он сказал, что паспорта бурлаков Тягунова, Кошкина и Глухарева находятся на последней барке у караванного Никиты. Полицейский записал их фамилии в книжечку и сухо ответил:

— Проверим...

В бурлацкое жилье они даже не заглянули.

На барке возобновилось веселье — гармонь, песни. Но Тягунов опять ушел в свою каюту, сел на нары. Степан Кошкин разговаривал с незнакомцем:

— А всё-таки, ты, наверно, беспаспортный? Нам-то что, не жалко, в Питере всем места хватит, — допытывался Кошкин, с любопытством посматривая на незнакомца.

Тот, действительно, выглядел необычно. Не по возрасту поседевший, задумчивый. Одет он был в серый поношенный и помятый костюм, вышитую косоворотку, обут в добротные сапоги.

— А что тебя беспокоит? Пристал к человеку! — сказал Тягунов. — Не наше дело. У всякого дорога своя.

— Справедливые слова приятно слушать, — отозвался

незнакомец и, достав из потайного кармана паспорт, потряс перед носом Степы.

— Вот! Самый настоящий, и при мне. А вам хозяин не доверяет, паспорта у вас отобрали, плывете, словно на привязи.

Кошкин отмахнулся:

— Ну тебя к богу, я просто так...

Паспорт у проезжего был подчищен. Поэтому он и ушел к бурлакам в каюту, чтобы полицейские в полутемном помещении не смогли разглядеть подчистку на документе. По паспорту незнакомец именовался Александром Смирновым, а среди своих товарищей носил кличку «Седой». После тюремной высылки и побега из архангельской ссылки Седой работал в Петербурге по заданиям большевистской группы. Сейчас он возвращался из Шлиссельбурга, куда по поручению старших товарищей ездил разузнать — кто из революционеров находится за крепостными стенами, каковы тюремные условия жизни заключенных.

Седой разговорился с Тягуновым и Кошкиным. Узнав о расправе, учиненной казаками над крестьянами в Вологодчине, и о том, что у Тягунова казаки заporоли отца, он оживился и заговорил примес и откровеннее:

— Вот оно, что! Даже до глухой Вологодчины каратели добрались. В кубинских лесах цагайки засвистели. Мужики сопротивлялись, дали сдачи казакам, или молча перенесли издевательства? В других местах, я знаю, крестьяне били казаков, били полицию, а солдаты отказывались стрелять в народ. Вот это здорово получалось! А у вас там как?

— Что как? Отхлестали и уехали, — отмахнулся Тягунов, — наши мужики еще не обучились драться супротив силы, посланной губернатором.

— Ничего, научатся. Важно, чтобы они поняли свое бесправие и оценили по заслугам произвол царя-батюшки. Эта казацкая милость тоже от него исходит.

— Что же делать? До царя голыми руками не достанешь, по рылу ему не заедешь...

— Придет время, достанем, у рабочего класса руки сильные, да и крестьянин нашему брату поможет.

— А ты кто такой? Говоришь поучительно, а кого ты собой представляешь? — спросил Тягунов и внимательно посмотрел на незнакомца.

— Да почти то же, что и ты! — весело отозвался Се-

дой. — Отец у меня был бедняк-крестьянин, потом уж на завод переехал. Мне тогда десять стукнуло, но и мне нашлась работа за двугривенный в день. Двенадцать лет работы и ученья у мастеров — и стал слесарем. Повидал и послушал я немало хороших людей, которых за правду жандармы били да в тюрьму бросали...

— Студентом не был? — понимающе подмигнул Степа.

— Нет, студентом не был, но годик со студентами под одной крышей сидел, а потом с ними в дальние края прогуливался...

— Вот от них-то и нахватался, — уверенно и поспешно всгавил Тягунов.

— Кое-что и от них перепало, — согласился Седой. — А много и сам увидел.

Седой выглянул в полураскрытую дверь. На крыше барки сидели на своих сундучках и корзинах пробиравшиеся в Питер рабочие люди. Песни уже прекратились, но гармонист Семен Глухарев еще перебирал лады, негромко и задумчиво наигрывая что-то.

Пока полицейские не высадились на берег, буксирный пароход тянул караван медленно, а потом, пронзительно свистнув, туго натянул перекинутые к нему с передней барки канаты и ускорил ход.

— Баба с возу — кобыле легче, — усмехнулся Степа, провожая глазами полицейских.

— А о тебе, товарищ, скажу прямо, — проговорил Седой, обращаясь к Тягунову: — ты не рабочий, но уже начинаешь ненавидеть и презирать тех, против кого нам надо бороться. Кровь отца, дорогой товарищ, значит многое...

— Что поделаешь! — грустно покачав головой, сказал Тягунов. — Была у меня думка торнуть где-нибудь рыбчинскую барку на камни, да что толку? Закатают в тюрьму, а хозяину не велик ущерб...

— Да, это ни к чему, — заметил Седой. — Не это нужно. Скажем, ты грамотный человек...

— Какая там грамота! — признался Тягунов, — три класса церковноприходской школы...

— Для начала и это не плохо. Можно между делом читать толковые книги да учиться...

Долго еще беседовал с Тягуновым и Кошкиным этот случайный попутчик. Седой чувствовал, что его слова оставят след в душе этих полукрестьян-полурабочих. А Седой, где бы он ни был — в тюрьме ли, в ссылке ли, на свобо-

де, — всюду вел агитационную работу, находил, подготовлял и вербовал сторонников революции. Это было законом для каждого большевика-подпольщика. На всякий случай, Седой постарался запомнить имя и фамилию Тягунова, а в записной книжке кратко пометил: «Усть-Кубинское. Лесопилка Рыбкина. Катрома — казаки, порка крестьян...»

Показались в болотных пригородах первые фабричные и заводские трубы. Вдали в дымке марева светился золоченый купол Исаакиевского собора. По Неве сновали взад-вперед пароходы. Кубинские бурлаки на рыбкинских барках входили в шумный Петербург.

Вместе с другими попутчиками, ехавшими на барках от Шлиссельбурга, Седой высадился около Смольного монастыря и исчез в пристанской сутолоке и шумихе.

Барки прошли под тремя мостами и где-то в укромном уголке Торгового порта пристали к берегу. Там сотни грузчиков ждали прихода караванов. Никита сходил в контору и вечером стал производить расчет с бурлаками и возвращать им паспорта. Когда очередь дошла до Тягунова, Никита, заглядывая в долговую книжку, быстрым движением пальцев стал отмечать на счетах, скороговоркой называя цифры:

— За сорок дней путины шкиперу по восемьдесят копеек с пятаком в день — тридцать четыре рубля... Обратного долой за чай-сахар семь гривен; на добавочное пропитание пшеница брал на сорок восемь копеек. На обратный билет по чугунке до Вологды половина цены — три двадцать. Итого на руки двадцать девять рублей шестьдесят две копейки!..

Тягунов пересчитал получку. Двадцать рублей бережно завернул в бумажку и зашил в гашник штанов, — это домой на расходы. Остальные деньги — на покунку ситца для жены и сынишки, самому на рубаху и небольшой остаток на пропой, — не отставать же от компании. Да и караванного вскладчину угостить надо.

В Питере бурлаки жили недолго. Постриглись, причесались, ходили по базарам, посидели в дешевых харчевнях, попили пива с соленым-моченым горохом, водочкой в меру побаловались. Полюбовались памятником Петру I, постояли на площади перед огромным дворцом, где царь живет и где не так давно, по его приказу, расстреляли тысячу рабочих. Затем вологодские бурлаки прошли по Невскому проспекту. Степг и Сеньке не понравилось, что на такой широкой и людной улице не полагается песни

петь. Из любопытства они долго ездили в трамвае, читали вывески и считали этажи высоких домов. В общем, за двое суток Петербург им изрядно надоел, и они были весьма довольны, когда караванный Никита привел их к поезду и указал вагон. Сам Никита остался в Питере еще на несколько дней.

Многие из бурлаков впервые ехали по железной дороге. В Питер на барках по рекам и каналам, с задержкой в шлюзах, с остановками из-за недостатка пароходов, тащились они ровно сорок дней, а до Вологды поезд шел всего двадцать часов.

Бурлаки до устали бродили по знакомой Вологде и, конечно, завернули в пивную. Тут они изрядно выпили. Тягунов, положив под голову котомку, заснул на лавке, Глухарев, бросая медяки на пол, рычал: «Поставьте мне сто бутылок!..» Кошкин пускался в пляс и залихватски пел:

Я во Питере бывал,
Плитуяром¹ хаживал,
Я молоденьку куфарку
Там за ручку важивал...

Наконец, закружившись в пляске, Степа толкнул плечом официанта. У того полетели с подноса рюмки и стаканы. Кончилось тем, что без помощи полиции хозяин с официантом вытолкали бурлаков из пивной под сугорье к речушке Золотухе, заросшей лопухами и крапивой. Тут они, обнявшись, проспали весь вечер, всю белую июньскую ночь и, проснувшись на другой день утром, долго с похмелья не могли сообразить — утро сейчас или вечер?

XII

В Катроме, в крайней покосившейся, соломой крытой избушке Ефросинья поджидала мужа из бурлацкой путины. Утешая себя и сынишку Петьку, она много раз твердила:

— Скоро тятка приедет, нам гостинцев привезет...

А тятки всё нет и нет. Петьке надоело ждать. Пробовал плакать — не помогает. Мать унимала его шлепками:

— Не вой! Никуда твой тятка не денется, мимо своего дому не пройдет...

¹ Плитуя р — тротуар из каменных плит.

Бывало, после работы в пустоши на сенокосе Ефросинья, тербя передник, задумывалась и сама готова была плакать. Да еще кое-кто из соседей шутки ради расстраивал:

— Не вешай, Ефросинья, голову. Твой Ванька не из пропащих. Он в Питере такую кралю подхватил, — в шляпке, на каблучках, брюхо рюмочкой!..

Понимающий мужик, Василий Румянцев, тоже иногда говорил неприятные слова:

— Да, Питер — он такой... Не оглядись хорошенько — провалишься, как в болоте. Много там народу всякого — и жуликов, и обманщиков, и баб-девок продажных, — гляди в оба, не то с заграничной болезнью домой явишься: вместо носа дыра...

Только тесть Тягунова, отец Ефросиньи Макар, по прозвищу Зазубра, отругиваясь, доказывал мужикам:

— Зятек у меня с головой. Зря вы, мужики, у Ефросиньи сердце из покоя выводите. Да еще если наше письмо Ивана в путине захватит, да узнает он, что с отцом случилось, — и дня в Питере не задержится, прикатит...

Макар Зазубра — мужик рассудительный, степенный. Пять лет назад, выдавая дочь за Ивана Тягунова, он всё продумал, взвесил и решил: жених вырос у него на глазах, хорошо ему известен и дочери люб — пусть живут да радуются. Правда, Тягунов небогат, но зато и семья невелика: Иван один у Петра сын, что в доме-хозяйстве есть, чего нет — делить не с кем. К тому же и сам покойный Петр Тягунов был тогда еще мужик в силах, бережливый и старательный. У Макара Зазубры своя лошадь, у Петра и зятя Ивана лошади не было, так они сговорились по соседски, по-родственному: лошадь и соха — Макара, руки — Петра. Петр старался, пахал узкие полосы в обоих хозяйствах. Сено возить, снопы, дровишки — всегда обходились одной лошадейю. После смерти Петра Тягунова Макару стало трудней. Пахать пришлось самому, а от пашни он отвык, да и лошадь его не слушалась, бороздой ходила неровно.

Ждал и Макар своего зятя: вернется — хлопот поменьше будет. Пусть-ка попашет. Руки у него помоложе, покрепче, а земля в катромских полях — не земля, а словно свинец: суглинок на низких местах. И сколько из года в год мужики ни пашут, сколько навоза ни возят, — земля тощает и тощает. Хорошо, что в Вологодчине появились ле-

сопильные, стекольные заводы, бумажные фабрики, — есть куда отправиться на заработки, а то хоть с голоду подыхай...

Иван Тягунов вернулся домой расстроенный. Без отца-старика избенка, казалось, еще больше осела и покосилась. Несколько сгнивших жердей свалилось с крыши, и серую солому взлохматил ветер.

Едва успев сбросить котомку с плеч, Иван очутился в объятиях жены.

— Иванушко, Иван — заголосила она, — видел бы ты, что с отцом-то твоим они, собаки окаянные, натворили! Исстегали, исхлестали посреде улицы, разбойники кроважадные... Тебя он вспоминал перед смертынькой... в одночасье, сердешный, преставился без исповеди.

— Что делать, ведь не воротишь, — тяжело вздохнув, проговорил Иван, удерживаясь от слёз. — А мужик, царство ему небесное, был еще в силах. Годков десяток вполне пожил бы.

Долго горевать недосуг. Иван взялся за хозяйственные дела и до поздней осени с утра до потемок работал: снопы с поля возил и обмолачивал, озимое себе и тестю посеял, хворосту в пустошах на зиму заготовил, сено для коровы под соломенный навес от дождей убрал. Огляделся — всё сделано, а без работы сидеть невыгодно, да и непривычно. Пожил еще с неделю дома, потешился с сынишкой Петькой и отправился искать заработка, но опоздал: у Никуличева и Ганичева на лесопилках свободных мест не оказалось, а к Рыбкину идти не захотел.

Невеселый пошел Иван Тягунов обратно в Катрому, обдумывая в пути — как жить дальше. Подсчитал: хлеба надо прикупить пудов пятнадцать, но тогда денег на недонмки нехватит. Жизнь не радовала...

Стояла поздняя вологодская осень. Хрупким серебристым инеем покрыл мороз-утренник давно скошенные луга и жнивье. Ивняк, ольшаник и все лиственные деревья начисто оголились. Воздух был свеж, дышалось легко. Поставившаяся, шел Иван перелесками к удельному катромскому лесу. На опушке среди молодого ельника он подостлал охапку сухого сена, прилег отдохнуть — идти еще далеко. В одиночестве о многом думалось Тягунову: вспомнил он своих товарищей бурлаков — Кошкина и Глухарева. Чем-то они заняты теперь? Решил снова встретиться с ними вес-

ной. Вспомнил и разговор с Седым, подивился неугомонной его натуре и подумал: как мало он, Иван Тягунов, видел хорошего на своем веку, как мало знает о том, что творится на белом свете! Время идет и идет. В деревне жить на клочке земли становится невозможно. Не прокормиться, если не работать по найму на отхожих промыслах.

Иван Тягунов задумался: «Уступить бы свою тощую узкополосую земельку тестю Макару, а самому с женой и Петькой переехать на завод. Верно, и там не сладко, но зато есть постоянная, не сезонная работа, стало быть, заработать на кусок хлеба можно. Живут же там люди! А из деревень, куда ни погляди, целые семьи так и бегут, так и бегут — на фабрики под Вологду, на заводы в Архангельск, а мне хоть бы поближе пока устроиться — у кубинских живоглоотов... Подумаешь — Катрома! Не велика тут отрада, не на цепи меня Катрома держит... Ладно, посмотрю, что будущая весна покажет, лишь бы до нее дотянуть», — решает Иван. В раздумье настороженно прислушивается и оглядывается. Сквозь покачиваемые ветром ветви пролетает крупная черная птица и падает неподалеку от него в кучу свалившегося сухостойника. Это сытый, тяжеловесный глухарь. «Вот бы ружье сейчас!» Но ружья у Тягунова нет и не было. Если когда и случалось полакомиться дичью, то благодаря силкам и ловушкам, которые, бывало, мастерил его отец, знавший, когда и где их удачно расставить.

ХIII

Пожил Иван Тягунов у себя в деревне недели две без работы, послушал сетованья Ефросиньи Макаровны и, наконец, сказал ей:

— Вот что, голубушка. Пойду-ка я в эту зиму лес рубить. Уж тут отказа в работе не будет. К кому вот только попроситься в напарники?

— Да на что лучше — к Василию Румянцеву. Прилаживайся к нему, — посоветовала Ефросинья, обрадованная решением мужа.

Румянцев жил в другом конце деревни. Изба у него пятистенная, почти новая. Подвальные брёвна опираются на темносиние камни, успевшие под тяжестью избы вдавиться глубоко в землю. Перед крылечком накинаны пучки ивовых виц. Из сеней по лесенке спускается тканый пестрый

половичок, на боковых окошках цветами заставлены подоконники. В семье Румянцевых любят опрятность.

Уверенно поднимается Тягунов по лестнице в сени. Приступки врублены крепко, не скрипят: скользят под руками гладкие поручни. В полутемных сенях нащупывает Иван скобу на дверях, входит в избу. В избе порядок. Пол накрыт половиками; вышитая скатерть спускается со стола до полу. Пахнет свежеспеченным хлебом и кислыми щами. В углу божница; под лампадкой крутится сверкающий надутый стеклянный шарик. На широких крашениных лавках — ничего лишнего. Одежда домохозяев развешана под полатами. Около печи, отгороженной в углу двумя скамейками, топчется на соломе новорожденный теленок, веселый, со звездочкой во лбу, как у общественного быка Проньки...

Хозяин не сразу поднял голову, не сразу взглянул на вошедшего: он сидел в кутке за шкафом и напильником точил пилу.

— Помогай бог! — громко сказал Иван, чтобы привлечь к себе внимание. — Здравенько, Василий! Не в лес ли собираешься с пилой?..

— А мне не привыкать, думаю сходить, — ответил Румянец, складывая пилу в сторону и доставая из кармана штанов вышитый кисет с табаком. — Закуривай.

— Что-то не хочется...

— Да пробуй, махорочка высший сорт!

— Ну уж если высший, то сверну цыгарочку. А пришел я к тебе по делу: не возьмешь ли меня на пару с собой на лесозаготовки?

— Да ведь я, Иван, не в поденщину пойду, а с хлыста: сколько нарублю — весь заработок мой.

— Ну и я с хлыста поработаю.

— Ох, угонишься ли за мной? С хлыста выгодно тому, у кого топор в руках как балалайка поигрывает. Чтоб ты и устатка не чувствовал, и чтоб деревья валились как подкошенные. Раньше-то ты маловато рубил?

— Дровянку рубил. Пиловочника не приходилось.

— Дровянку-то что, легко. А как попадет десятивершковое, тут кругом его походишь. Тут тебе, и мороз ни-почем...

Поговорили и согласились идти работать вместе.

Выпал мягкий снежок-первопуть. Четыре дня пекла Ефросинья ржаной хлеб, сушила сухари и кропала мужу

поношенную одешонку, а Иван тем временем починил чуи-ки-салазки, сделал два длинных топорща — по совету Василия Румянцева: чтобы взмах был шире и удар крепче.

Впряглись Тягунов и Румянцев. У обоих груз — по два пуда сухарей, по пуду вяленой сушеной репы, по два топора, пила, железная лопата, медный чайник и одна деревянная чашка на двоих. Тронулись до рассвета. В каждой избе светился огонек, обряжухи возились около печей. Перекликались петухи на насестах, оповещая о приближении короткого дня.

Посреди Катромы, на бугорке, под старой черемухой, Румянцев на минуту замешкался; остановился и шедший за ним Тягунов.

— Вот тут нас казаки рубцевали, на этом месте... — сказал Василий. — Помяни, господи, отца твоего... Сволочи, терзатели, зверье!.. А главное — за что? За какие-то десять-пятнадцать бревёшек... Да разве мало этого добра? Лес до самой Камчатки, а ты его не тронь, — купи, а разве всякому под силу купить?

— Ладно, Василий, такое дело не забывается, — хмуро отозвался Тягунов, — нечего говорить много раз говоренное. Мы вот трудимся из-за куска хлеба, а есть люди, которые о всем народе думают, как сделать, чтобы жилось легче. Для народа стараются. Встретил я нынче одного такого на барках, — от Шлиссельбурга до Питера он пробирался, — толковый человек... Таких бы побольше...

С утра до вечерних потемок, идя из Катромы в лесосеки, о многом успели побеседовать Румянцев с Тягуновым. Тягунов узнал от соседа, что после порки мужики сильно озлобились на начальство, даже о самом царе поговаривают испочтительно.

Рыбкинские лесосеки были ближе никуличевских, однако Тягунов с Румянцевым предпочли идти к никуличевским приказчикам-лесозаготовителям. На работу их приняли. Записали в конторскую книгу. Верстах в десяти от лесной конторы в верховье Кубины отвели участок густого, не тронутого топором соснового леса. Глушь. Никакого жилья вокруг. Тяжелые ноябрьские облака низко проносились над хмурыми лесами. Где-то в стороне раздавались глухие удары топоров, — там работали вожегодские лесорубы.

Прежде чем приступить к рубке, надо было подумать о жилье. Тягунов и Румянцев пошли на стук топоров. Лесорубы в холщовых расстегнутых рубахах без поясов, мно-

где даже без шапок, подрубали столетние деревья. Узнав, в какой стороне находятся их жилища и попросившись «устроиться» к ним, Тягунов и Румянцев, таща за собой чунки с харчами и прочим скарбом, пробрались на опушку леса, туда, где шалаши, вроде самоедских чумов, с отверстиями вверху, чередовались с землянками. Тут же стояли огороженные от прожорливых лосей десятка полтора стогов сена. Осмотрев незавидные жилища, Тягунов покачал головой, сел, усталый, на кочку и невесело сказал Румянцеву:

— Вот он, наш Невский проспект!..

— Ничего, — мы себе построим белокаменные палаты, получше, чем эти берлоги, я умею, — успокоительно ответил бывалый лесоруб.

— Да, там дворцы и чертоги, а здесь берлоги, — продолжал Иван. — Зато у Рыбкина и Никуличева в городе четырехэтажные дома...

— Вся сила, батенька, в деньгах, — берясь за топор, проговорил Румянцев. — Вот и мы тут зиму поработаем, вашибем...

— Кошке на молочишко...

— И то давай сюда. Ну-ка, бери лопату да начинай копать «могилку» двум, пока живым, рабам божьим!..

Румянцев топором расчистил на возвышенном месте кустарник. Иван вырыл яму — сажень поперек, четыре аршина вдоль, глубиной два аршина. Потом из кряжей сложили они сруб с пазами; сверху положили настил из тонких бревен, покрыли хвоей и засыпали землей. Продвольствие сложили в изголовье. Затем вытесали приставную, без петель, дверь. Белым ягелем устлали место для спанья.

— Кажись, будет тепло и сухо, — одобрительно отозвался Румянцев, — наши отцы и деды в таких ямах жили, а мы чем хуже? Выдюжим!..

В лес, на отведенную им хозяйскую делянку, они уходили рано утром, возвращались в вечерних потемках. Обедали в полдень на делянке, сидя на пнях. К домашним сухарям иногда прикупали у никуличевского приказчика соленую треску. Когда сухари были съедены, стали у приказчиков брать в долг печеный мороженный хлеб. В студеную пору хлебные караван не поддавались ножу. Хлеб рубили топором и разогревали у костра. В землянках и шалахах не было печек. Чтобы не замерзнуть, люди спали тесно

прижавшись друг к другу, накрывшись одеждой; поочередно поддерживали в очаге огонь. В землянке Румянцева и Тягунова очага не было. Они сделали деревянный дымоход и отоплялись по изобретенному ими способу: в пазы внутри землянки вставляли тонкие ветки сухостойной сосны и поджигали. Ветки сгорали, распространяли тепло в подземном, первобытном жилище. Огонь лизал серые прокопченные брёвна, и если от усиленной «топки» загорались кряжи, тогда они снегом тушили тронутые огнем стены.

Так проводили они здесь томительные длинные северные ночи. А утром, стоило только взяться за топор и свалить одно-два дерева, как по телу разливалось тепло и подбадривало их весь трудовой день.

Раз в неделю появлялись обмерщики из конторы, подсчитывали, кто сколько бревен нарубил, и записывали себе в памятные книжки, а лесорубам вместо денег выдавали квитанции на цветной бумаге со штампом «Торговый дом Никуличев с сыновьями». Такой же порядок был введен и Рыбкиным.

По проторенным снежным дорожкам начиналась вывозка леса в низины и спуски, размываемые весенним половодьем лесной реки Кубины. Тягунов с Румянцевым, закончив рубку леса, осмотрели штабели и сами удивились — как много сделали они за зиму в погоне за копеечкой! А сколько дохода даст заготовленный ими лес хозяину?! Даже приказчики и объездчики, поработав в хозяйских конторах год-два, обзаводятся крашенными уютными домами и строят их не в деревнях, не в запанях, а в бойком торговом селе Усть-Кубинском.

Весной, до начала пахотных работ, Тягунов уговорил Румянцева остаться еще на несколько недель, поработать на сплаве леса. Тот согласился. Когда настало время расчета с лесорубами и сплавщиками, рыбкинская контора со всеми расплатилась полностью, а в никуличевской выдали каждому аванс от десяти до двадцати рублей и предложили за окончательным расчетом прийти в августе.

И опять на руки вместо денег — квитанции. Тягунов подсчитал по ним свой заработок — с ноября до мая, кроме аванса и вычетов за хлеб и треску, шестьдесят восемь рублей с копейками.

— При нашей нужде это большие деньги. Хотя бы в августе выдали...

Летом Иван Тягунов не ходил на барках в Питер: хватало работы по хозяйству у себя в Катроме, а если выбиралась свободные дни, он не отказывался от поденщины. Правда, дома время двигалось слишком медленно, не как в прошлое лето на барках, и в родной Катроме ему казалось скучно. Но что поделасшь, нельзя оставить хозяйство на Ефросинью с малышом Петькой.

Однажды к Катроме со станции Морженги подошли неизвестные молодые люди. Их было пять человек. Чтобы не привлекать к себе внимания катромских жителей, четверо остались за деревней на сеновале, а пятый пришел в Катрому и стал разыскивать Тягунова. Найти его было не трудно. К удивлению Ивана, молодой неизвестный парень поздоровался с ним, как со старым знакомым, крепко пожал руку и тихо сказал:

— Меня звать Феоктистом, по фамилии Винокуров, вы меня не знаете, но вам поклон с приветом от товарища Седого. Помните? От Шлиссельбурга на барке с вами до Питера пробирался...

Тягунов, конечно, помнил Седого, но всё же нерешительно спросил:

— Какого Седого? Не знаю, кто он такой и где?..

Но Винокуров, сразу же переходя на ты, улыбнулся и спросил:

— А скажи, пожалуйста, казаки в прошлом году не твоего ли отца на тот свет отправили?

— Да, моего.

— Если Седого ты хоть раз в жизни видел, ты его не забудешь. Позволь переночевать у тебя.

— Милости прошу, места не убудет. Оставайся.

— Благодарю. А за меня не беспокойся. Я вольный, имею вид на жительство по всей империи.

Винокуров чем-то напоминал Седого. О себе он ничего не рассказывал и даже на вопрос Тягунова «чей ты, да откуда?» отговорился шуточкой: «дальний, отсюда не видеть». Зато усердно выпрашивал, как живет лесорубам и сплавщикам, работающим на Рыбкина и Никуличева, что говорят о хозяевах и их приказчиках, каковы заработки лесорубов, исправно ли выплачивают деньги за работу. Спросил даже — за что штрафуют и выдают ли пособия в случае увечья. Всё это интересовало Винокурова,

поскольку попутно с другими делами хотел он написать статью в социал-демократическую подпольную газету. Феоктист крепко хранил в памяти наказ Седого: «Таких кровожадных хищников, как Рыбкин и Никуличев, неизменно богатящихся в вологодской глуши, следует держать в страхе и трепете, невзирая на столыпинские виселицы...»

— А зачем тебе знать о делах усть-кубинских богачей? Не паянаться ли к ним хочешь? — поинтересовался Тягунов, пытливо и с некоторым опасением поглядывая на ночлежника. — Из тебя конторщик вышел бы, сразу видать.

— Конторщиком и без меня много. Однако схожу в село, полюбопытствую и насчет работенки, — ответил Винокуров.

Ночь он проснал на широкой лавке, уткнувшись головой в скомканный пиджак. Утром его разбудил стук в окно. Это Василий Румянцев пришел спросить Тягунова, в какое время удобнее сходить в село, чтобы застать никуличевских конторщиков и получить, наконец, заработанные деньги. Разговаривая через окно с Тягуновым, Румянцев успел приметить ночлежника, хотя тот отодвинулся за простенок. Увидев, что его заметили, Феоктист подошел к рукодельнику и стал умываться.

«Уж ты, что ни говори, а сразу видать — из острожников», — подумала Ефросинья, подавая Феоктисту рукотерник. Во взгляде ее были робость, почтение и жалость.

— Из ссыльных? — вопросительно кивнул Румянцев в сторону ночлежника.

— Кажись, — неопределенно полушёпотом ответил Иван, — со станции в село пробирается.

— Много их нынче развелось. Не больно-то опасных полиция по ближним от Вологды деревням рассовывает, а которые самые опасные, так тех — за Архангельск, где и лета не бывает...

Феоктист будто и не слышал. Утерся и стал рассматривать вышивку и кружева на концах полотняного рукотерника. Особенно понравились ему кружева — из тончайших белых ниток.

— Нашел чем любоваться, — сказала Ефросинья. — У нас в Катроме и по всем кубинским деревням кажинная девка-баба так умеет.

— И от кого вы так плести научились?

— Друг от дружки.

— Красивая работа! Для себя или для продажи плетете? — спросил Феоктист.

— Для себя-то что похуже, с брачком да с помаркой. а чистую прошву перекупщикам сдаем.

— И сколько же в день можно такими золотыми руками выплести?

— Ой, уж и золотыми! У всех руки одинаковыс. Ежели постараться, так на пятналтынщый за день выплету.

— Немного, на это не разживешься. А ведь ваши кружева вологодские даже за границу продают, всякие там графини носят, слышали?

— Слыхали. А у вас на родине разве таких не плетут?

— Нет, у нас в Орловской губернии не плетут, — проговорился Феоктист. — У меня мать, две сестренки могли бы тоже на досуге плести, но там не у кого этому делу учиться.

— А здесь во всех деревнях, в каждой избе плетси. Вот еще, глянь-ка, что выплела я нынче летом в непогоду...

Ефросинья подошла к пяльцам, сняла подушку с коклюшками и достала из ящика пялец завернутые в чистый головной платок прошвы с причудливым тончайшим рисунком.

Эта вот «глазуньей» называется, эта — «гвоздикой», эта — «петуньей»... Не мы названья придумываем, — перекупщики. А эту вот прошву я сама еще зимой, без сколка, по своей выдумке выплела. Поглядела, как мороз окно изукрасил — такими звездочками с лучами... Ивана дома не было — лес рубил, Петька спал, и начала я булавки переставлять да коклюшками набрякивать, и вот что получилось. Поди-ко, и не купят?...

— Да это же не кружева, а поэзия!.. — воскликнул восхищенный Феоктист. — Без таланта такую вещь, хозяйшка, не сделать.

— Ну, «поэзия» — так пусть и «поэзия». Конечно, это не «петунья». А я хотела «изморозью» назвать.

Феоктист долго любовался кружевом. Оно было так тонко и изящно, что искусно сплетенные «гвоздики» и «глазуны» померкли перед этим чудесным изделием неграмотной вологодской крестьянки.

— Продайте. Сколько вам надо? Я эту штуку любимой девушке отослал бы посылочкой.

— Да что с тебя?.. Тут ниток на два пятака, плела я

три вечера — пока окно не оттаяло. Ну, сколько не жаль, — и спасибо.

Феоктист подал серебряный рубль. Ефросинья осталась довольна.

— Вот так бы перекупщики давали... Можно бы чай с сахаром пить!..

Она с удивлением посмотрела на расточительного ночлежника: примятый такой, неприкаянный, — а при деньгах.

Пока Феоктист разглядывал кружева, Румянцев, разговаривая с Иваном, с любопытством искоса поглядывал на пришельца. Уходя, решил спросить?

— За что попал из Орловской-то сюда?

Феоктист так взглянул из-под густых черных бровей, что Румянцеву сделалось неловко.

— За непочитание старших... за вольные мысли и длинный язык, — услышал от него Василий.

— Так, так... — и, пронызываемый суровым неласковым взглядом не по годам серьезного парня, Румянцев попятился от окна.

Когда он ушел, Феоктист сказал Тягунову:

— Что-то мне ваш сосед не приглянулся.

— Мужик как мужик. Ему за рыбкинский лес тоже властело. Нагаек изведал, да еще и штраф содрали.

— Впрочем, наплевать. Скажи, Иван, Устье Кубинское очень большое село? Можно там устроиться с жильем, работой?

— Очень большое село, — ответил Тягунов, — работу найти не трудно; были бы руки да голова — прожить можно. В селе трактиры есть, постоялый двор, казенка, пивные и шинкари — всё есть. И торговля всякая, и пароходство, и заводы... Село, — а побогаче уездного Кадникова, и Грязовца побогаче будет. Разных училищ — пять наберется.

— А народ вокруг неграмотный, — добавил Феоктист.

— Всякие есть. Вот я и учен грамоте, а ни к чему. Во всей Катроме нет ни одной газеты. Что делается на свете — не знаем, только слухами и кормимся.

— А книги хоть есть? У тебя в избе я что-то ни одной не вижу.

— Есть... один поминальник, — усмехнулся Тягунов, — там мой тесть приписал за упокой Петра «убиенного», так поп исправил на «усопшего». У Румянцева книги есть, но всякие там жития святых.

— Труха! — коротко отозвался Виокуров и, прощаясь с Тягуновым, сказал: — Ну, благодарю за почлег. Будешь когда на кубинских заводах, — поспрашивай меня. Виокурова люди будут знать.

Простившись, Феоктист вышел на улицу и направился просекой к пустоши, где его ожидали товарищи.

Жизнь Феоктиста Виокурова с юных лет сложилась необычно. Окончив двухклассное училище, он работал на железной дороге. Познакомившись с революционерами-подпольщиками, рано стал заниматься революционной агитацией среди рабочих-железнодорожников. Во время одной забастовки попал «под усмирение», затем в тюрьму и на два года в вологодскую ссылку. По окончании ссылки Виокуров не поехал в Орловскую губернию к семье, а остался работать в Ярославле. За это время познакомился с марксистской литературой, несколько раз прочел переписанный от руки «Манифест Коммунистической партии», но вскоре, не найдя себе подходящего дела, поехал в Петербург. Новые встречи и знакомства привели его в рабочий подпольный кружок, где проводил политические беседы большевик Седой. Однажды, говоря о действиях карательных отрядов, Седой вспомнил о своей встрече с кубинскими бурлаками и рассказал кружковцам о том, как губернатор Хвостов и его исправники расправляются с вологодскими крестьянами. Призывая рабочих бороться против царизма, Седой говорил:

— Мы, революционеры-большевики, не падаем духом. Наша первая революция окончилась поражением, но рабочий класс и его партия извлекли из нее урок и будут впредь действовать наверняка. В пятом году крестьяне еще надеялись на доброту царя, как и те рабочие, что вышли под пули на Дворцовую площадь. Но в предстоящей революционной схватке крестьянство станет нашим верным союзником. Атмосфера накаляется, — взрыв неизбежен. В тюрьмах, в подполье, в ссылке, в эмиграции, в рабочей среде и в войсках — всюду ведется подготовка к революции...

Выступление Седого было просто и ясно. И когда он предложил кружковцам оказать посильную материальную поддержку революционной печати, рабочие охотно внесли свои пятаки и гривенники в партийную кассу. Вот тогда молодой, пылкий Виокуров и вступил в разговор с Седым:

— Всё это хорошо, что рабочие поддерживают свою печать, но разве такими крохами можно быстро двинуть дело? Экспроприировать капиталистов — вот что надо!.. И нечего тут стесняться, ведь в сейфах буржуазии наши кровные, рабочие денежки... В тюрьме от социал-демократов я слышался об одном кавказском революционере — большевике по кличке Камо. Представьте себе, Камо не может быть оратором-пропагандистом, но он хочет помогать революции. И вот в Тифлисе, среди белого дня, с помощью ручной бомбы он добыл полмиллиона рублей! Прямо-таки из рук вооруженной охраны вырвал мешок денег. Деньги эти, конечно, попали в руки большевиков и пошли на закупку оружия за границей.

— О Камо я слышал. Это исключительный человек, и действия его тоже необычайны, — заметил Седой, — у этого человека особенный талант. Не всякий может так рисковать. Вам, молодым товарищам, нужно сейчас вот что: побольше заниматься самообразованием, вникать в существо рабочего дела, читать политические брошюры и нести боевое революционное слово в рабоче-крестьянские массы...

С той беседы прошло немного времени. На молодого энергичного рабочего обратили внимание члены подпольного комитета РСДРП, и вскоре Винокуров получил от Седого задание поехать на кубинские лесопильные заводы. Подобрал четырех молодых, смелых и преданных революционному делу товарищей, Феокист отправился с ними в вологодские края.

И вот теперь, переночевав у Тягунова, Винокуров шел тропами к пустоши и сеновалам, где на свежем сене спокойно провели ночь его четыре спутника. Вместе они вышли на дорогу, которая привела их по берегу Кубины в большое промышленное и торговое село Устье Кубинское.

Феокист и его спутники скоро разыскали контору «Торгового дома Никуличева с сыновьями». Контора находилась на стыке села с деревней Лахмокурьем и, огражденная палисадом, топила в зелени тополей и берез. Перед конторой, вдоль берега Кубины, расположились товарные склады Никуличева. За отмелью, прижавшись к зеленой с резными карнизамы пристани, стоял прибывший из Вологды никуличевский пассажирский пароход «Николай».

Из окон нижнего этажа конторы доносились голоса и шелканье счетов.

Винокурову долго пришлось спрашивать заводское на-

чальство: рабочих рук хватало и без приезжих. Работа оказалась временная — погрузка досок на баржи.

Через несколько дней туда же, на погрузку досок, поступил работать и Тягунов, пришедший получить у Никуличева свой зимний заработок. Вот тогда-то Иван и познакомился ближе с Феоктистом Винокуровым и его товарищами. Эти дружные и веселые ребята не отличались осторожностью. В свободную вечернюю пору они уходили на заливные кубинские луга, зажигали костер и громко пели «запретные» песни. К костру приходили лахмокурские рыбаки, пильщики и стекольщики с заводов Рыбкина и Никуличева. Ночью, когда шумное Кубенское озеро исчезало во мраке и лишь вдали мерцали огни маяков и бакенов, вокруг костра становилось довольнолюдно. Вновь приходящие приносили охапки хвороста-сушняка; костер пылал ярче и далеко разносились песни. Это были песни городских улиц и заводских кварталов, грозно звучащие в памятном девятьсот пятом году. Здесь, у костра, Феоктист Винокуров заводил разговоры, о которых сам в шутку замечал:

— Говорят, язык до Киева доведет. А я за свой язык ручаюсь, он может меня до Сибири довести. Но это не так уж страшно. Во-первых, наш царь-батюшка населяет Сибирь хорошими людьми, а во-вторых, нет на свете таких мест, откуда имеющему пару ног нельзя бежать.

Феоктист рассказывал о том, как рабочие в городах борются против хозяев-угнетателей, против царя и его приспешников-карателей, разъезжающих по городам и селам.

Иван Тягунов сидел на кряже перед костром. Руки его — могучие, узловатые — лежали на коленях, словно отдыхая от тяжелой дневной работы; пламя костра освещало озабоченное, слегка подернутое морщинами мужественное лицо.

— Эх, да что говорить! — махнул он рукой. — А сколько нашего брата, мужиков, живеть за что на войне гибнет! Мой покойный отец рассказывал про давнишние времена, как он, бывало, воевал с турками. В ту пору в царские именины за один день десятки тысяч перебили. Часто старик вспомнил об этом... Рассказывает, бывало, а у самого слезы по щекам.

— Об этой войне старые революционеры песню сложили, — добавил Феоктист. — Она запретная, но в Питере

рабочие поют тайком от полиции, а солдаты — тайно от своего начальства. Ну-ка, Петруничев, затяни!..

И тогда один из группы Винокурова, звонкоголосый кудрявый парень-ярославец, запел, а товарищи негромко подхватили:

...Есть на Шишке курган, занесенный кругом,
Кости русские там не догнали.
В именины царя, чтоб ему угодить,
Сорок тысяч солдат уложили.
Именинный пирог из начинки людской
Брат подносит державному брату,
А в России голодной, в России глухой
Снег заносит крестьянскую хату.
Много видов видал я в чужой стороне,
Но нигде я не видел такого,
Чтобы всякая дрянь на мужицкой спине
Выезжала, да так бестолково...

Песня неслась над Кубиной, подернутой дымкой ночного тумана, порой замирала и снова звучала, сопровождаемая чуть слышными замечаниями пильщиков и рыбаков, собравшихся у костра:

— Ничего себе песенка!..

— Такая бы исправнику или уряднику в уши... Ох, и властело бы этим певцам...

— Из молодых, а видать — ранние! Сами так в острог и просятся.

— Таких, брат, тюрьмой не запугаешь! Эти любому уряднику глотку перегрызут. Иван Петрович, ты-то где их спознал?.. Чьи они такие?..

Пятерка молодых большевиков, еще не имевших достаточного опыта революционной работы, проводила в то лето агитацию среди рабочих-сезонников. Стали появляться и тайком пошли по рукам помятые и зачитанные листовки и брошюры, разъясняющие народу смысл и цели революционной борьбы.

Вечерние сходки рабочих, часто устраиваемые Фсоктистом Винокуровым, иногда кончались после полуночи. Утром люди снова встречались на работе в цехах, на погрузке, на выкатке леса и втихомолку рассуждали о том, о чем вчера наслушались от этих смелых ребят. А Винокуров и его товарищи в обеденный перерыв занимались рискованным делом: пользуясь отсутствием надсмотрщика, они на широких свежераспиленных досках, отираваемых в Пе-

тербургский порт и за границу, писали революционные призывы, за которые грозила им в лучшем случае каторга. На пиловочнике, идущем на внутренний, питерский, рынок, на десятках и сотнях досок торопливой рукой, химическим карандашом было написано:

«Рабочие Питера! За кровь, пролитую вашими братьями 9 января, вы должны повесить царя! Боритесь до полной победы над царизмом!..»

«Рабочие Питера! Не верьте обещаниям предателей-меньшевиков, предъявляйте в своей борьбе с классовым врагом требования политические! Да здравствуют и крепнут ряды революционеров-большевиков, ведущих нас к победе!..».

А на сосновых досках, которые грузились в баржи для отправки за границу, появлялись такие надписи:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..».

«Символ нашей веры — Коммунистический манифест!»

«Привет русским политическим эмигрантам, вытесненным из России гнетом самодержавия! До скорой встречи, товарищи, на баррикадах Москвы и Петербурга! Долой самодержавие!..».

Доходили ли эти призывы по назначению — неизвестно. Известно только, что в скором времени в усть-кубинское волостное правление приехали жандармы — в форме и переодетые. Началось предварительное следствие. Многих негласно вызывали, допрашивали, в том числе и Тягунова.

Взволнованный, он вернулся из села на завод и сразу же, встретив наедине Феоктиста Винокурова, рассказал, о чем его спрашивали на допросах.

— Со мной сначала обошлись строго, нашумели, накричали, потом притихли и стали про тебя и про всю вашу пятерку выпрашивать: о чем разговариваете с народом, да не видал ли я, как вы на досках пишете, да с кем дружите, и всё такое. Даже деньги обещали, — рассказывал Иван торопливо, задыхаясь от волнения. — С меня расписку взяли, чтобы об этом допросе молчал, нигде никому не говорил, и чтобы из своей волости без ведома полиции никуда не уезжал. А о вас они, кажется, много знают. Боюсь, не за вами ли приехали?.. Не лучше ли вам поскорей податься отсюда...

— Да, положение наше рискованное, теперь уж, пожалуй, не уйти, — сказал Винокуров, мрачней. — Ну, спаси-

бо тебе, товарищ Тягунов, за предупреждение. Спасибо и прощай! — Винокуров крепко пожал Тягунову руку и скрылся за штабелями бревен.

XV

Побег не удался. Винокуров и его четыре товарища были настигнуты на Лебяжьем острове, посреди Кубины, между Устье Кубинским и Чирковым. Они отчаянно сопротивлялись. Два беглеца были убиты. Винокуров и двое других, выдержав суточную осаду, сдались. Под усиленным конвоем полицейских и жандармов, в железных наручниках они прошли по селу перед огромной изумленной толпой с высоко поднятыми головами.

По имевшимся фотографиям и материалам розыска, ротмистр, приехавший из губернского жандармского управления, опознал одного лишь Винокурова. Остальные двое на первом же допросе назвали себя вымышленными именами и решительно отказались от каких бы то ни было показаний. Но в Вологде, в жандармском управлении, куда они все трое были доставлены, Винокуров согласился писать протокол допроса собственноручно, и вот что он написал:

«... Зная Никуличева как капиталиста, и что громадный капитал приобретен им путем бешеной эксплуатации трудового народа, я, по убеждению коммунист, решил приехать на кубинские лесопильные заводы и вести любыми способами политическое просвещение рабочей массы, которую он, Никуличев, безжалостно эксплуатирует, пользуясь ее бедственным экономическим положением. Мне известно, что рабочие в лесной промышленности и на стекольном заводе и всюду, где работают на этого мироеда, в тяжелых, нечеловеческих условиях кровью и потом добывают себе кусок хлеба, он же утопает в роскоши, не делая ничего. Чтобы уничтожить эту вопиющую несправедливость, надо сначала поднять самосознание рабочего класса, к чему мы и стремимся...»

Феоктист не успел закончить свое писание. Один из жандармов подошел к нему сзади и заглянул в исписанный лист.

— Ты что?! — взревел он. — Не вздумал ли нас учить марксизму? — Пиши: кто вас снабдил оружием,

кто направил на завод, кто научил вас писать революционные призывы?.. Кто, я спрашиваю?..

Феоктист усмехнулся.

— Этого вы от меня не дождетесь. Правды я вам не скажу, а врать — не желаю...

Признав себя руководителем группы молодых революционеров, Феоктист отказался от дальнейших показаний.

Дело кончилось тем, что временный военный суд в Вологде на закрытом заседании 6 ноября 1909 года вынес решение по делу всех троих: «Лишить их прав состояния и подвергнуть каждого смертной казни через повешение...»

Слух о приведении приговора в исполнение скоро дошел до Усть-Кубинского и до Катромы.

Иван Тягунов в ту пору был уволен с завода и со дня на день, ожидая неприятностей, ходил замкнутый и задумчивый. Ефросинья, приметив в нем перемену, спрашивала не раз:

— Иван, Иванушка, что с тобой? Будто подменили тебя! Что стряслось неладное?..

Тягунов молчал или же грубо говорил:

— Не твоего ума дело. Помалкивай...

Но однажды, подвыпив в зимний Николин день, Иван доверился Ефросинье:

— Знаешь, что, голубушка, тот, помнишь, что почевал у нас и купил у тебя кружево за целковый — из ссыльных, революционер он. Вместе на погрузке работали. Бежал было от полиции, но схвачен и, говорят, повешен во дворе вологодской тюрьмы...

— Господи! Такой молоденький, тихий да хороший!.. Ужели правда! Ну и ну!.. Кому-то досталось мое кружево... Вот отчаянная головушка!..

Накануне весенней рабочей поры в Катрому прискал урядник. Допросил Румянцева, а затем вместе с ним и с понятными, ночью, явился к Тягунову.

— Ты Иван Петров Тягунов?

— Я, — растерянно ответил Иван, протирая заспанные глаза и пятясь от урядника.

— Именем закона и на основании предписания жан-дармского управления ты арестован...

— За что?

— Зажги лампу. Обыскать надо.

— Да в чем я провинился? Фрося, проснись, арестовать пришли... Чего ради обыскивать?

Бегло осмотрев всё, что было в избе, урядник решил обыска не производить: ничего подозрительного нет.

— Ладно, обыскивать не станем, — сказал он, — так в протоколе и отметим: «При обыске ничего не обнаружено». Одеваться и следуй за мной.

Урядник внушительно похлопал рукой по кожаной кобуре и сел на лавку. Лампа-коптилка осветила тесное помещение. Из-за заборки, непричесанная, в одной исподке, высунулась Ефросинья, охнула и юркнула обратно. Накинув какую-то одежонку, она вышла и дрожащим голосом промолвила:

— Здорово, добрые люди.

Румянцев виновато ответил:

— Добрые-то добрые, да не с добром к вам пожаловали. Чем-то твой Иван не угодил, полиции понадобился.

— За что берете, господин урядник?

— За соучастие с Винокуровым и его компанией...

Иван грузно опустился на лавку и стал навертывать на ногу портянку. Ефросинья всхлипнула.

— Не плачь, Фрося. Выяснят — выпустят. Мало ли кто может наговорить на меня и на любого... Дай-ка лучше мне с собой каравай хлеба, соли щепоть да сахару кусочек, если есть.

В затасканный холщовый мешок, побывавший и в бурлацкой путине, и на лесозаготовках, сунула Ефросинья каравай, соль, сахар, полотенце и пару белья, — кто знает, надолго ли!.. Иван торопливо поцеловал жену и направился было к двери, но вернулся. На соломенной постели под доскутным одеялом беззаботно спал Петька. Ефросинья хотела разбудить его, Иван не позволил:

— Не надо, еще напугается спросонья... — Наклонился и поцеловал сына в лоб.

— Спи, Петька, да вырастай на здоровье... А ты береги его. В случае чего, без меня обязательно в школе выучи. Пусть все три класса кончит.

— Золотцо мое, ужели надолго?

— Не плачь, говорю, ведь не убийца я, зачем надолго... Ну-ка, еще раз, прощай...

Как ни малограмотен был Тягунов, но понимал, что в эту тяжелую пору арестов, высылки и казней выйти из тюремных застенков нелегко. В гнетущем настроении шел он по улице между понятыми и урядником. Под окном у десятского стояла наготове запряженная в розвальни ло-

шадь. Сели: Иван — посредине, десятский и урядник — на облучке. Долго ехали молча. Наконец десятский, не оборачиваясь, спросил:

— Кажись, ты, Иван, весной-то опять на барках в путину собирался? Вот тебе и путина!..

— Поживем—увидим... может, еще успею и на барках...

— Не угоди туда, где «золото роют в горах», — равнодушно проговорил урядник, придерживая на коленях саблю.

Близился рассвет. Урядник, утомленный поездкой в Катрому, зевал и набожно крестил рот.

Из села в тот же день препроводили Тягунова в Вологду.

После долгой следственной волокиты, руководствуясь «высочайшим повелением», несмотря на отсутствие улик, крестьянин Иван Петров Тягунов был приговорен на три года к высылке под гласный надзор уездной полиции, а до утверждения приговора водворен в пересыльную тюрьму.

XVI

Обширное Кадниковское уездное захолустье. Дремучие северные леса тянутся на сотни верст. Небольшие серенькие деревни разбросаны бестолково и часто. Во все стороны от них тянутся узкие проселочные дороги с канавками по сторонам и буераками поперек. Кое-где через ручьи и впадины перекинута ветхих мосты. Всюду тишина. Редко где проскрипит по проселку намазанными колесами телега, или пройдет обходными тропинками пешеход. Время такое, что люд деревенский забрался в глубь лесов и пустошей на подсеки, на сенокосы: там в эту пору кипит работа. А деревушки, прижатые к самой земле, оставлены на попечение старых и малых. На улицах нячатся с ребятишками старухи, на завалинках в тени сидят старики, лениво толкуя о том, о сём.

Молчат скрипучие журавли колодцев. В грязных прудах, подернутых ряской, стоит, погрузившись до боков, мелкая скотина. Коровенки здесь невзрачные, прозваны «павозницами». Порода не молочная. А в павозном удобрении в здешних местах большая нужда. Земля суглинистая, неплодородная. То от засухи, то от вымочек — вечно низкие урожаи. У кого нет скота — нет павоза, а нет павоза — тот и с землей как бобыль безземельный.

Лес здесь — без конца и края. Лес крепкий, деревья нередко толщиной в два обхвата. Избенки, построенные из таких бревен, простоят больше ста лет, пока наполовину не осядут в землю. Есть избы — страшно к ним подойти. Держатся на подпорках, того и гляди рухнут. А бедному человеку приходится и в таких жить. Лесу хотя и много, да он не свой. Всеми лесами владеет «казна». «Куда ей столько лесу надобно?» — недоумевают мужики и потихоньку рубят казенный лес. Нарвутся на лесника — откупаются и деньгами, и печеным, и вареным — лишь бы не потянули в суд.

Захолустный уездный Кадников издали неприметен. Но чем ближе к городу, тем отчетливей вырисовываются его «достопримечательности». На возвышенном месте — каланча, издали похожая на шатровку-мельницу, только без крыльев; дальше — зеленый купол и колокольня церкви, именуемой Крестовоздвиженскою. Резко выделяется среди сотни крохотных одноэтажных домиков трехэтажная белокаменная тюрьма. Дома купечества и начальства укрылись в центре города меж кудрявых зеленых деревьев. В общем город похож на большую деревню. Даже овины за городской околицей те же, что и в деревнях, и сараи с припертыми ворстницами, и бани около речки, и кузницы вблизи большой дороги — всё точь-в-точь как в деревне. Словом, город скудный и глухой, так что к перечисленному, кроме двух казенок, уездного земства и полицейского управления, добавить, пожалуй, нечего...

В прежнее время, когда еще не было железных дорог, через Кадников гнали под конвоем в далекую архангельскую ссылку партии осужденных революционеров.

В годы, к которым относится наше повествование, в здешнем уезде подвизался исправник Гантимуров, человек тупой, недалекий, но преданный престолу и прославившийся служебным рвением. Положением своим он был весьма доволен. Тягостны были исправнику только заботы и хлопоты о политических ссыльных, которых губернатор и губернское жандармское управление определяло в Кадников под гласный и негласный надзор. Исправник хлопотал об усилении полицейского аппарата, однако из губернского города редко присылали в его распоряжение испытанных городских.

Ссыльные революционеры-профессионалы, несмотря на слабость надзора, вели себя здесь крайне осторожно, чтобы

не дать в руки исправника улик «на предмет продления срока ссылки». Правда, они общались между собой, устраивали в своей колонии собеседования, диспуты на политические темы, учились, заводили знакомства с надежными, проверенными людьми, — одним словом, накапливали силы для новых революционных действий.

Неискушенный в следственных делах, Гантимуров всецело полагался на опытного следователя Страусова.

Однажды исправник, расстегнув мундир, стеснявший его тучное тело, сидел в своем кабинете и слушал Страусова. Следователь докладывал о делах и разной переписке, поступившей с последней почтой. В заключение он положил на стол пакет с пятью сургучными печатями и пометкой: «Лично, секретно, господину исправнику». Гантимуров ножницами бережно вскрыл конверт. Потом, откинувшись в кресле, прочел:

«... Три недели тому назад на пароходе «Преподобный Савватий», с группой ссыльных был направлен в ваш город политический ссыльный Тягунов Иван Петров, сроком на три года. Нам до сих пор не известно, обязан ли Тягунов подпиской о невыезде из Кадников и ведется ли за ним надзор.

За начальника губернского жандармского управления подполковник Столбняков».

Исправник прочел бумагу и вызвал правителя канцелярии:

— Аккуратов! Сюда!.. Разыщите мне всю переписку на Тягунова.

До конца занятий старый канцелярист Аккуратов и два переписчика искали бумаги о направлении Тягунова под надзор полиции, но бумаг таких не обнаружилось. Не поступал под надзор и сам Тягунов.

... Вологодская пересыльная тюрьма, где находился Тягунов, была переполнена заключенными, ожидавшими высылки в разные уезды севера.

В числе многих петербургских большевиков, следовавших по этапу в Сибирь, в вологодской тюрьме оказался и Седой. Здесь он был таким же деятельным, как на воле. В тесном кругу товарищей, тайком от надзирателей, Седой беседовал с заключенными о Манифесте Коммунистической партии, о программе РСДРП, о разногласиях между большевиками и меньшевиками. Тягунов был одним

из самых внимательных слушателей, хотя во многом плохо разбирался. Ему не доставало общих знаний и даже простой грамотности.

Постепенно Иван ближе познакомился с Седым и узнал некоторые подробности его жизни. Как-то, лежа на широких затертых парах, они вспомнили о первой встрече и разговорились о прошлом. Седой не любил рассказывать о себе, но тут он, видно, решил, что Тягунову полезно будет узнать о нем больше: о его успехах и провалах, поучиться на его жизненном опыте.

— Сначала было так, — рассказывал Седой: — попал я на три месяца в карцер на высылку за то, что заступился за товарища-рабочего и разбил физиономию полицейскому. Освободился, снова пошел на завод. Сколотил группу из пятнадцати рабочих. Читали книжки и прокламации. Накануне царского коронация порассовал я кое-куда эти листовки. Разошлись они по надежным рукам. А в тех листовках нашему брату глаза открывались на жизнь. Потом мы их сами стали печатать. Собрали денег по три копейки, по пятаку — на бумагу, на краску. Но тут-то я немножечко сплеховал и попал второй раз под арест. Сижу в «предварилке» и думаю: понаду в крепость. Но, спасибо, товарищи, которых вызывали свидетелями, сумели всё дело так запутать, что вышел я на свободу. Обратю на завод уже не берут: как-никак — два ареста. Поехал в Москву. Устроился там, нашлись друзья-единомышленники, и опять мы взялись за старое. Когда я снова попал под арест, то меня уж допрашивал самый главный жандарм — Зубатов. Он молодых рабочих частенько сам допрашивал и увещевал. Три раза меня к нему водили. Но я твердо решил молчать. Сижу, будто воды в рот набрал, а Зубатов говорит-говорит, «просвещает», а я молчу и нарочно зеваю...

— Что же он говорил? — не утерпев, спросил Тягунов. — Очень, брат, интересная у тебя жизнь!..

— Известно, что может говорить человек в голубом мундире... Судить меня у жандармов не было данных. Освободили. Поехал я тогда на Кавказ в Тифлис, там встретился с революционерами, но только было связался с ними — получаю повестку: в солдаты. Отправили служить в Туркестан, на границу, около Бухары. Солдатом недолго пришлось быть, уволили как неблагонадежного. Подался снова в Москву, потом и в Питер. Три года тому

назад, вскоре после Кровавого воскресенья, попал в Петро-
навловку. Самое страшное там — тишина... сидишь — буд-
то в могиле. Ни звука... Эх, да всего не расскажешь. Длин-
на, братец ты мой, эта история... Сидел со мной один,
некто Шендрикович — меньшевик, грамотей и говорун,
струсил на допросах, выдал меня, да и себя не выгородил.
И попал я из-за него в ссылку на север.

— И сбежал? — почти шёпотом спросил Тягунов.

— Сбежал, но снова был водворен в Крестовскую
тюрьму. Огромная, как завод, тысяча камер! И всё же
было там тесно... Там меня и прозвали Седым. Да, было
от чего поседеть. — Седой покачал головой, вспоминая тя-
желые тюремные дни, и продолжал: — Сидишь, бывало,
избитый на допросе, а кренишься. А вот принесут от то-
варищей-рабочих передачу, тут и расчувствуешься, слёзы
выступят. Конечно, дело не в посылке, а в том, что това-
рищи на воле помнят о тебе...

— Да, вот если б таких, как ты, было побольше на
свободе! — задумчиво сказал Тягунов.

Седой усмехнулся:

— Не в одних нас дело, товарищ, надо народ подго-
товить, рабочих и крестьян, да всем вместе, дружно, спа-
янно действовать. Даже в тюрьмах и ссылках люди не все
из одного теста, не на одних дрожжах всхожены. Иные
именуют себя революционерами, а на самом деле только
путаются под ногами и мешают. К примеру скажу: мень-
шевики — хлюпики; эти плывут по воле волн, одна види-
мость: шаг вперед, два назад. Разве это движение? С этой
публикой нам, большевикам, непопутно...

Подобные частые беседы очень сблизили Тягунова с
Седым и заставили крепко полюбить этого мужественного
человка. Когда, наконец, стало известно, что Ивана Тя-
гунова высылают под надзор полиции в свой уездный го-
род Кадников, а Седого, как наиболее опасного, — в дале-
кую Якутию, Тягунов понял, что ему еще много надо прой-
ти трудных дорог, чтобы оказаться на таком счету у поли-
ции. Об этом он сказал Седому.

— Ничего, не горюй, — улыбнулся тот, — при жела-
нии ты и в Кадникове сможешь служить делу революции.
Эх, если б меня выслали в Кадников, снялся бы оттуда
без промедления. Из Якутии трудней бежать. И всё-таки —
сбегу. Сейчас не то время, чтобы целых пять лет смиренно
отбывать ссылку.

Тягунов молча слушал Седого и соображал: «А нельзя ли обмануть тюремную стражу? Пусть Седой едет под конвоем в Кадников, а там бежит при первой возможности». Иван Тягунов слышал от заключенных о подменах путаницах при отправке в ссылку, о побеггах, которые устраивались с помощью «неподкупной» стражи. Подумав об этой возможности, Тягунов набрался смелости и решил поговорить с Седым.

Революционер внимательно выслушал его. Пытливо посмотрел в глаза Тягунова, улыбнулся и, крепко пожав ему руку, сказал:

— Люблю смелых людей! Спасибо. Можно попытаться. Лишь бы конвой в Кадников был отправлен раньше. Подумаем, товарищ Тягунов, подумаем...

Но долго раздумывать не приходилось, надо было действовать. Список направляемых под надзор в Кадниковский уезд скоро поступил в канцелярию тюрьмы, о чем сразу же стало известно во всех камерах пересыльной. Поздно вечером, при слабом мерцании фонаря, во дворе тюрьмы комплектовали группу ссыльных для отправки на пароходе в ближние поднадзорные места. Вызвали и Тягунова, но он, обняв Седого и пожелав ему успеха, остался в камере. Будь что будет! Попытка — не пытка!..

Седой с небольшим узелком вышел следом за другими заключенными во двор тюрьмы. Свежий воздух после душной камеры обвеял его лицо. Он встал во вторую шеренгу.

Жандарм ходил перед строем взад-вперед с пачкой препроводительных бумаг.

— Вы теперь уже не арестанты, — обратился он к конвоируемым, — а поднадзорные ссыльные, определенные судом и высочайшим повелением на три года в Вологодскую губернию. Поясняю, что все жалобы в дальнейшем вы будете, в случае надобности, направлять па имя его превосходительства губернатора Хвостова через господина исправника Кадниковского уезда Гантимурова. Понятно? А теперь произведем переключку. Я буду называть фамилии, а вы говорите соответственно имя и отчество. Так-то верней будет.

Один из тюремных стражников, подойдя к жандарму, осветил фонарем бумаги.

Началась переключка:

— Баскаков! — возгласил жандарм.

— Николай Федорович, — послышалось в ответ из нестройного ряда людей, готовых к отправке.

— Серов.

— Виктор Евгеньевич, — отвечал чей-то неясный голос.

Жандарм каждый раз, сверив фамилию с именем и отчеством, уверенно ставил карандашом ижицу.

— Лукашенко! — кричал жандарм.

— Остап! — еще громче крикнули в ответ из рядов.

— Остап Остапом, — строго сказал жандарм, — а ты отчество говори сразу.

— Батьку Опанасом звали!..

Когда очередь дошла до Тягунова, Седой без запинки отозвался:

— Иван Петрович!..

Жандарм поставил ижицу и назвал очередную фамилию.

После переклички — команда «напра-во!», и все тридцать вразброд, неохотно, повернулись на месте. Со скрипом распахнулись тюремные ворота. В сопровождении двух конвоиров и жандарма все тридцать вышли на грязную вологодскую мостовую.

Город спал. По дощатым тротуарам изредка проходили запоздалые пешеходы. Слышались ночные гудки около вокзала и на литейном заводе.

У пловучей пристани стоял пассажирский пароход «Преподобный Савватий». Толпились сонные пассажиры.

— Р-разойдись! — крикнул конвоир, расталкивая людей, — а ну, поберегись! Прочь с дороги!..

Наконец, когда проход на пристани был расчищен, все тридцать ссыльных, с жандармом впереди и двумя конвоирами сзади, прошли на пароход и стали размещаться в кормовой части на ящиках, мешках и канатах. Конвоиры остались около ссыльных, а жандарм, как только отвалил пароход, прошел в каюту первого класса и беззаботно улегся спать.

Конвоиры бодрствовали. Ссыльные, полулежа, полусидя, дремали, а некоторые сразу же заснули.

Седой, сидя на ящике, тепло вспоминал Тягунова и упорно думал о побеге. Прислушавшись к разговору конвоиров, он узнал, что рано утром пароход подойдет к пристани Рабанге. Там их высадят и поведут дальше, в уездный город, в глушь северных лесов и деревень. Но далеко ли место поселения и где? Всё это важно знать, чтобы уже

сейчас наметить план побега, медлить нельзя!.. Седой посмотрел в раскрытое окно парохода. Ночная густая мгла. «Это потому, что пароход освещен. На самом деле не так темно!» — подумал Седой. Вглядевшись, он различил в полутьме невысокий берег реки, сплошь заросший кустарником, и чуть заметное зарево над городом.

— Песню, что ли, запеть? — послышался чей-то звонкий голос из группы ссыльных.

— Давайте, товарищи, споем.

— Оно, пожалуй, можно, жандарм насчет песен запрету не сделал, — согласился один из конвоиров, любитель послушать арестантские песни, и благосклонно добавил: — Только прошу не петь запретных.

Осыпались листья осенние,
Хороша эта ночка в лесу, —

протяжно затянул запевала и взмахнул рукой, словно требуя, чтобы остальные подхватили песню.

Выручай меня, поченька темная,
Я неволи-тюрьмы не снесу.
Но крепка та железна решётка,
Неужель не сломать ничем?
Дай, попробую эту решётку,
Поднажму молодецким плечом.

Песня лилась вольно. Она выносила на свободу доброго молодца, рискнувшего бежать из тюрьмы.

Не услышала стража тюремная,
Не поймать ей теперь молодца...

— Хорошо поют, хорошо!..

— А несладкая у них жизнь... Страдальцы... — сочувственно вздыхали пассажиры, прислушиваясь к словам незнакомой песни.

— Эх, не до песен, когда свет тесен, — проговорил запевала и, вспомнив чьи-то слова, сказал торжественно:

Ребенку и в люльке простор.
Дай вырасти, стать ему мужем.
Тесен покажется мир!..

— Это ты откуда взял? — обернулся Седой к запевале.

— Кажется, из Шекспира, — отозвался тот.

Немного помолчав, Седой как бы невзначай спросил конвоира, задумчиво облокотившегося на бочку с керосином:

— Скажи, служивый, далеко нам от пристани пешком придется идти?..

— До уездного города верстусек двенадцать.

— Я думаю, вы совершенно зря нас сопровождаете: мы бы и без конвоя явились к исправнику.

— Не наше и не ваше это дело. Закон порядка требует...

Пароход шел медленно, словно оцупью. Думы Седого были тревожны: «Вдруг завтра же в тюрьме обо всем узнают. Надо действовать быстро и решительно». Он вспомнил о двух золотых десятирублевках, обернутых черным сукном и вместо пуговиц пришитых к его брюкам, — это на проезд до первой явки...

А пароход идет так близко от берега и так медленно, что без особого труда и риска можно сразу очутиться на берегу. Только вот как отвлечь внимание конвоиров и спрыгнуть за борт где-нибудь на повороте, чтоб и рулевой у штурвала не заметил?.. А что если и в уборной окно такого же размера, как вот это? И тогда...

— Служивый, разрешите в уборную?

Конвоир молча кивнул.

Седой запер дверь на крючок и быстро отодвинул раму. Затем вылез в окно и встал на узкий карниз вдоль борта.

Густой предутренний туман спустился над извилистой рекой. Пароход шел, задевая бортами ветви деревьев, нависших над водой. На первом же изгибе реки Седой бросился в воду... И никто с «Преподобного Савватия» не заметил, как он вылез на берег и стал выжимать свою одежду.

Ему сопугствовала удача. По росистой осоке, доходившей до пояса, он успел в предутренних потемках добраться до турундаевских пустошей, сплошь заросших кустарником. С восходом солнца нетрудно было определить, в какую сторону держать путь. Он пошел на юг. Позади виднелась сияющая позолотой, освещенная солнцем глава высокой колокольни Вологодского собора, да тонким облаком висел над невидимым городом дымок от литейных мастерских.

Выйдя на кочковатое торфяное болото, Седой почувствовал, что силы его начинают сдавать. Не худо бы подкрепиться. Выручила морошка. На болотных кочках оказалось обилие красных, твердых, еще не созревших ягод. Нельзя сказать, что они были вкусны, но в крайности и эта пища способна поддержать силы. Не путем, не дорогою, миновав болота, Седой вышел в перелески и добрался до разъезда Стеблево, откуда ночной поезд через восемь часов доставил его в Ярославль. Там и затерялся путь подпольщика...

Ивану Тягунову ни разу больше не пришлось встретиться с Седым. Лишь после революции Тягунов прочел в газете, что кто-то по фамилии Седой был видным организатором Красной гвардии в столице. Возможно, это был он.

XVII

... Жандарма разбудил внезапный стук в дверь. Откинув занавеску, он выглянул в окно каюты. Начинало светать. По знакомой прибрежной местности жандарм определил, что пароход приближается к Рабанге.

— Что ж так рано меня разбудили? — проворчал он, открывая дверь.

Конвоир, задыхаясь, ввалился в каюту:

— Беда!.. Ваше благородие, беда!.. Один из арестованных сбежал!..

— Ка-ак?.. Арестант сбежал?.. С парохода прыгнул?..

— Спрыгнул... и не заметили, где и как...

— Давно?

— Не могу знать...

— А кто же знает? А кто же из вас, ротозеев, ответит? Ну, кто? Кто?!

Жандарм выкатил глаза и плюнул в лицо конвоира.

— Как фамилия бежавшего?

— Не могу знать... Придется переключку сделать...

Жандарм выглянул в окно каюты. В ночной полутьме туман расстилался по заливным лугам, по перелескам без конца, без края.

— Подожди здесь, — сердито приказал он конвоиру и, накинув шинель, бросился в узкий коридорчик, а оттуда по лестнице на верхнюю палубу. На скамейках возле проволочных решеток сидели в полудремоте пассажиры, придерживаясь за сундуки и кошелки. Жандарм взбежал на

капитанский мостик и оглянулся. Белесый туман обволакивал сумрачные берега. В нескольких саженях от парохода едва виднелся густой лес.

— Вот мерзавец! Да его тут с сотней собак не разыщешь, — растерянно проговорил жандарм и подошел к помощнику капитана. Тот, в черном бушлате, стоя у штурвала, часто наклонялся над медной трубой, командовал:

— Тихий ход!..

— Есть тихий ход! — глухо слышалось из машинного отделения. И когда помощник капитана видел перед собой ровное плесо, снова прибегал к медной трубе:

— Полный вперед!

— Есть полный вперед! — откликался снизу машинист.

— Дров до Рабанги хватит?

— Хва-а-тит! — протяжно неслось в ответ.

Жандарм постоял на мостике, подумал и молча спустился в каюту. Грузно сел на матрац, уперся глазами в конвоира:

— Говори правду: многим известно о побеге ссыльного?

— Кажется, ни матросы, ни пассажиры не заметили...

— Ну и ладно... Да ступай и предупреди того балвана, чтобы он тоже об этом ни гу-гу... Авось, как-нибудь отчитаемся.

Конвоир вышел в кормовую часть парохода. Ссылные многозначительно переглядывались. Устроили перекличку. Установили фамилию беглеца: по спискам недоставало Тягунова. Жандарм извлек из портфеля все личные дела на сопровождаемых и, выбрав из них дело Тягунова, задумался. Долго вертел он в руках это дело, перечитывал в нем скудные сведения, наконец, бережно сдгнув бумаги вчетверо, спрятал в потайной карман шинели. «У Гантимурова не в таком уже порядке делопроизводство, чтобы из-за одного беглеца канитель подымать. А человек — не игла, найдется», — подумал он и решил поступить так: сдать ссыльных гуртом в уездное полицейское управление, а дело на Тягунова привезти обратно в Вологду и незаметно подсунуть в громадный шкаф регистратора-архивариуса. Так он и сделал. Но скоро выяснилось, что среди содержащихся под стражей и подлежащих отправке в Якутию нет Седого; по другим сведениям не оказалось на месте высылки Тягунова. И тогда между Кадниковским исправни-

ком и губернским жандармским управлением по делу Тягунова завязалась переписка.

В это же время архивариус случайно заметил, что в шкафу, туго набитом бумагами, начинают пошалить крысы. На полу под шкафом завелись уже кучи бумажной трухи. Архивариус наугад вытащил тощее дело Тягунова, посмотрел на обложку и удивился: когда оно было закончено, кем сдано в архив — неизвестно. Не подозревая ничего о переписке, уже возникшей по этому делу, он стал наводить справки в пересыльной тюрьме. Оттуда поступило уведомление:

«Запрашиваемый вами Тягунов Иван Петрович действительно содержится у нас под стражей в правой башне главного корпуса и значится также в числе отправленных этапом к месту ссылки в город Кадников. Причины недоразумения выясняются...».

Прикрыв уведомление булавкой к делу, архивариус по долгу заботливого службиста доложил о случившемся подполковнику Столбнякову. Тот, внимательно выслушав, возмутился:

— Сейчас же доставить мне из пересыльной Тягунова! Дело его оставьте здесь. Можете идти. С вами разговор будет после... — сердито добавил Столбняков.

Брезгливо взяв изуродованное крысами дело, он перелистал его и бросил на угол стола, по обыкновению лицевой стороной книзу.

Привели из тюрьмы Тягунова. Столбняков, оставшись с ним с глазу на глаз, откинулся на спинку кресла и, покручивая остроконечные усы, спросил:

— Фамилия, имя и отчество?

— Тягунов, Иван Петров.

— Как же так получилось, что ты до сих пор находишься в тюрьме, тогда как давно должен быть на месте ссылки?..

— Не знаю...

— Тягунов! — повысил голос Столбняков. — Брось крутить!.. Говори прямо! Вместо тебя выбыл по этапу большевик Седой, благодаря тебе и ротозейству некоторых идиотов. Признавайся сейчас же в своем преступном соучастии!.. Мы всё знаем!..

Тягунов пожал плечами.

— Раз вы всё знаете, незачем меня и выпрашивать

а вот я — так ничего не знаю... И не понимаю, что мне за удовольствие отсиживать в тюрьме за какого-то Седого!..

Столбняков нажал кнопку. В кабинет вошел высокий конвоир.

— Уведите! Он мне не нужен! — распорядился подполковник и на обложке дела красным карандашом размашисто написал: «Произвести тщательное расследование и ходатайствовать о продлении срока ссылки».

Дело Тягунова осталось в прежнем положении. Седого объявили в бегах и подлежащим розыску по всем большим и малым городам Российской империи. Тягунова препроводили на три года под надзор полиции в Кадников, а Гантимурова, по особому предписанию, перевели в один из захолустных уездов Архангельской губернии с понижением в должности.

XVIII

За три года Ефросинья Макаровна успела пять раз побывать в Кадникове на свидании с поднадзорным мужем. Нельзя сказать, чтобы за эти годы Иван Тягунов сильно изменился, но Ефросинья заметила всё же в нем какую-то персмену. Ей казалось, что Иван, находясь в ссылке и общаясь с поднадзорными, перестал быть заботливым крестьянином. Его интересовал только сын Петька — как его здоровье, как растет, как учится в школе. Конечно, Иван рад был бы взглянуть на любимца-сына, но разве можно матери везти его по кубинским и катромским трущобам до уездного города?

Строя мысленно планы на будущее, Тягунов откровенно говорил жене, что, отбыв срок ссылки, не станет жить в деревне, а вместе с ней и Петькой навсегда переедет на лесопильный завод.

— А куда избу, куда землю денем? — дивясь такому решению мужа, спрашивала Ефросинья.

— Не велики наши хоромы, не обширны и угодья. Подрастет Петька, я да ты в силах, — на кусок хлеба всегда добудем.

— А ежели будет семья прибывать?

— Прокормимся. Были бы руки, а покупатель на них всегда найдется.

Покорная Ефросинья не возражала.

— Ладно, будь что будет, тебе видней, только возвра-

шайся поскорее. Да не запутайся тут, а то как бы не вы-
проводили и подальше...

Тягунов с дозволения полицейского начальства сначала работал на паровой мельнице. Он ворочал мешки с зерном, выгребал муку из ящиков, иногда помогал механику переставлять жернова и присматривался к работе двигателя. Когда на паровой мельнице не было дела, Иван уходил в ближнюю деревушку Филяево, где проживали ссыльные, и там подряжался с кем-либо вдвоем пилить продольной пилой брёвна на доски. По вечерам в свободное время ссыльные собирались, читали книги из уездной земской библиотеки. Обычно под конец пивесть откуда появлялись затасканные брошюрки, газетные листы. Разгорался спор на политические темы, рассуждали о том, кто и как должен управлять Россией, когда, наконец, царское правительство будет свергнуто...

Как раз к тому времени, когда царь и его правительство готовились отметить трехсотлетие дома Романовых, кончился у Тягунова срок ссылки.

В Катроме и окрестных деревнях пронесся слух:

— Вапъка-острожник вернулся!..

Возвратился Тягунов в свою Катрому в хмурое осеннее утро, и сам был хмур, неразговорчив, не спешил повидаться с соседями, не торопился рассказать о себе. Кому какое дело, как его таскали на допросы, как он сидел в тюрьме и отбывал ссылку. Он чувствовал, что прозвище «острожник» так и останется за ним, как второе имя. Но это его ничуть не оскорбляло.

Сынок Петька, ученик приходского училища, не узнал отца сразу. Не таким был отец: вроде бы и в плечах стал шире, голос грубей, усы колючей, и закруглилась пушистая борода.

— Ух, ты какой тяжелый стал! — сказал Иван, подняв сына подмышки. — Молодец!.. Ну, как учишься, сынок? Покажи-ка свои книги и тетрадки.

— Память у него хорошая, — вмешалась Ефросинья. — С такой памятью ему бы дяконом быть: все молитвы на зубок знает. Второй год учится, а псалтырь читает без запиночки!..

Отец усмехнулся, проговорил ласково:

— Непутевую ты ему должность пророчишь... Поживет — увидит, кем ему быть. Ну, Петька, где же твои тетрадки?

Порылся Петька в холщовой сумке, достал всё своё школьное достояние — книги, потрепанные, пересыпанные хлебными крошками, тетрадки по арифметике, русскому языку и чистописанию.

— На, тятя, разглядывай.

— Староваты книги, Петька, вроде бы по этим самым и я учился...

— Староваты, и то всем не хватает: на двоих одна книга — поочередно учим.

В тетрадях красным карандашом учителя было помечено после каждого задания: «5. Смотрел, учитель Смирнов».

— Что ж, похвально, — сказал отец. — Старайся и дальше так же. А Смирнов-то долго работает. Я тоже у него учился. Ну, а теперь почитай, что наизусть заставляют учить.

Петька торжественным голосом, подражая учителю, прочел отрывки из «Полтавы» и полностью «Бородино».

— Молодец! Как же ты успел? В твоих учебниках этих стихотворений нет.

— А мы и старшие, и младшие — все сидим в одной комнате. Я слушал-слушал, да и запомнил.

— Ладно, учишься ты хорошо. А матери по хозяйству помогаешь?

— Матери-то? Как же, помогаю... — протяжно ответил Петька. — Только всё ей мало. А ведь мне, тятка, и погулять хочется...

— Понимаю... еще бы не хотеть... Чем же ты матери помогаешь?

— Известно чем: хворосту нарубить, натаскать — всё мое дело. Раз от мамки попало: топор в куст спрятал, да и забыл, в который. Так она меня вицей так нахлестала, что сразу припомнил, где топор.

— Ты бы, Петька, всего-то и не рассказывал, — вмшлась мать.

— Нет уж, пусть тятка знает. Я уж не маленький, хлестать меня стыдно. Я, тятка, в нынешнее лето у дедушки Макара кобылу научился запрягать. Нам бы вот свою лошадь!..

— Ой, смехота с тобой! — всплеснула руками Ефросинья. — Дедушкину кобылу легко запрячь, сама в хомут лезет.

— Только вот засупонить не умею, — горестно сознал-

ся Петька. — И засупонил бы, да ногой до хомута достать не могу.

Отец усмехнулся.

— Видать, долгонык, Петя, у нас с тобой своей лошади не будет. — И, потрепав его вихрастую голову, весело добавил: — Учись хорошенько, да не горюй, не в кобыле счастье...

Пообжился Иван в Кагrome, с соседями, с тестем повстречался, поговорил — с кем по душам, с кем издалека да намеками, проверил, сколько у Ефросиньи зерна и муки в чулане, и решил, что пора ему идти в волостное правление, выправить паспорт, а потом поискать работы. Через несколько дней с новешьким паспортом пошел он на стекольный завод Никуличева. В конторе не спросили, к чему способен Иван:

— Тягунов? Это не ты по делу Винокурова привлекался?.. Уже успел отбыть срок?.. Нет у нас подходящей работы, нищи в другом месте...

Вышел Иван из заводской конторы, огляделся: стекольный завод дымил, дыша огненным жаром во все раскрытые окна и ворота. На широких деревянных помостах, перед зияющими жерлами огромных печей, потные, почерневшие от грязи, пыли и копоти, в оборванной одежде из мешковины, рабочие-стеклодувы носились, покрикивая:

— Эй, берегись!.. Эй, не мешай!..

А на улице одна за другой катились к складу вагонетки, груженные ящиками листового стекла. И тут же стояли десятки подвод, приехавшие к Никуличеву за стеклом из разных волостей Вологодчины.

Не успел Тягунов осмотреть издали завод и тесные, прижавшиеся вплотную, одна к другой, хижинки заводского поселка, как напрямик просекой, через березовую рощу побежал от стекольного на никуличевский лесопильный завод нарочный с запиской: «Бывшего острожника и ссыльного Тягунова просьба ни на какую работу не принимать во избежание могущих быть последствий».

Но Иван не пошел в контору никуличевской лесопильни, а вышел на зимник, ведущий по льду Кубины к заводу Рыбкина. «Не увижу ли там Никиту-караванного, может с его помощью у Рыбкина устроюсь», — подумал он.

Зима была на исходе. Дни становились ярче и длиннее. По сторонам дороги выступили проталины. Лед во многих местах посерел: на быстрине, где от Кубины рукавом отде-

ляется и проходит возле Лахмокурья Сигайма-река, образовались темные полыньи, опасные для ездоков и пешеходов.

Шагая по сырому, рыхлому, изъезженному снегу, Тягунов скоро добрался до рыбкинского завода. Здесь всё было по-старому. Только заметил Иван, что брёвна в штабелях стали как будто гораздо тоньше.

— Эге, да тут совсем другие сорта пилят, — понял он по обрезкам досок, валявшимся у штабелей. Он поднял тонкую дощечку, гладко выстроганную, и определил, что такой товар пригоден для обшивки городских домов и классных вагонов. Однако удивило его другое: в штабелях на торцах бревен вместо «Ф.Р.» выдавлены буквы «О.С.». Что бы это значило? Через несколько минут Тягунов нашел ответ на заводской вывеске:

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД ОСКАР СТЮВЕНИ

О Рыбкине осталась на заводе одна только свежая, но недобрая память. Завод теперь принадлежал другому хозяину — англичанину Оскару Стювени, даже ни разу не побывавшему здесь и купившему завод не глядя, как кот в мешке. Вместе с Рыбкиным уехали в Петербург Рогалев и Бюргер, их заменил доверенный нового хозяина Эдуард Саломе.

Высокий, сухощавый, с гладко выбритым лицом, Саломе днем следил, как устанавливаются на заводе новые усовершенствованные рамы взамен износившихся «шведок», и сам руководил установкой строгальных станков. Вечером он вызывал к себе в кабинет рабочих и служащих по делам перемещения с одной работы на другую. Рыбкинские порядки ему не нравились, многое упразднилось и заменялось.

Когда Тягунов спросил в конторе о работе, ему с подчеркнутой любезностью ответили:

— Будьте добры, зайдите после шести к самому господину Саломе, — и показали на дверь с медной дощечкой: «Управляющий Э. Саломе. Прием по личным вопросам после шести часов вечера».

Узнав, что Никита работает на заводе десятником, наблюдающим за постройкой барок, Тягунов пошел его разыскивать.

— Угу! Явленные мощи из осинової рощи! — весело приветствовал Никита своего бывшего шкипера. — Какими судьбами? Слышал я о тебе, парень, потерпел, говорят, малость. Ну, хорошо, что хорошо кончается. Я и то говорил тут, когда тебя в тюрягу забрали: какой, говорю, из Ваньки Тягунова политикан! Деревня-деревней... Насчет работы, поди-ка?

— Да, надо за дело браться.

— Не зевай, новый управляющий башковат, хитер и покладист. У него для всех дело найдется.

Они сели на обтесанные бревна, закурили. Никита рассказал, что Рыбкин в каком-то столичном клубе проигрался в карты и продал всё свое хозяйство на Кубине.

— Конечно, Рыбкин играл не на последние, — говорил Никита, — у него и в банке деньги, и акции всякие есть. Ну, слово за слово, приблизительно договорились и — по рукам. И завод со всем нашим братом, и лес на корню, и постройки, и всё подчистую — за полмиллиона рублей. Приехал в наши края теперешний Эдуард Саломе. Вежливый, со всеми раскланивается, шапочку снимает, разговаривает с ласковой усмешечкой и сам требует приятства в разговоре. У нас тут рабочие его Соломой прозвали, дескать, мягко стелет, да жестко спат, и фамилия подходяча: Саломе-Солома. Ну, это наплевать... Конторщики тут было приуныли, — как, мол, дела пойдут, когда матерый лес Рыбкиным весь выведен. А этот Саломе не растерялся. Доехал до лесозаготовок и заставил рубить нещадно весь лес от трех вершков в комлю, — а при Рыбкине даже пятивершковых не трогали, сам знаешь: рубили от шести да толще. Само-собой, такого лесу на тех использованных участках еще видимо-невидимо! Рамы переставил, станки строгальные завел. И теперь посмотри: не доска, а пряник! Из рук не выпустишь. Любая длина, любая ширина в струганом виде, ничегошеньки в брос не идет. Всё деньги! Вот тебе и Солома!.. Хитер, шельма! Много не говорит, а всё смышляет да делает...

— Да, так-то вот оно идет. Кто кого обыграет в ихнем богатом состоянии, — задумчиво перебил Тягунов Никиту и решил: — Сегодня пойду к вашему новому управляющему, что-то он мне скажет... Есть, Никита, такая думка — совсем на завод перебраться с женой и сыном, а Катрому забыть...

— Что ж, иные заводские живут вольготнее деревен-

ских. Одобряю. Не знаю, как покажешься Саломе: может, откинет, может, на хорошую должность примет.

Около шести часов вечера Тягунов стоял уже в коридоре у дверей управляющего. Посетителей было человек двадцать. У каждого своя нужда. Когда до него дошла очередь, Иван не как все прочие, не сразу рванул дверь за скобу, а вежливо постучал.

— Прощу войти! — послышалось из кабинета.

Тягунов, держа в руках шанку-ушанку, переступил порог, поклонился. Саломе что-то записывал в блокнот и не сразу поднял голову и не сразу заговорил с вошедшим. Иван тем временем быстро осмотрел освещенный электричеством кабинет. Перед столом — два мягких, обитых кожей кресла. «Это для господ, не для нашего брата», — подумал Тягунов. Возле стен венские стулья — для заседания служащих-конторщиков. В углу, вместо иконы, — серебряное распятие. Желаящие могут перекреститься. Однако Саломе не осуждает, если и не приметят распятия. За спиной у него портрет короля Великобритании, Георга Пятого, в позолоченной раме.

Саломе закрыл блокнот, положил ручку на бронзовые оленьи рога в черной мраморной подставке.

— Кто вы и что вам угодно? — спросил управляющий и вытянул под столом длинные ноги, обутые в теплые, обшитые кожей бурки.

— Я ищу работы и прошу принять меня на ваш завод. Не откажите, пожалуйста!..

— А что вы делать умеете?

— Я раньше и на сплаве работал, и в лесу, и на барках шкипером. Еще случалось работать на паровой мельнице...

— Так, так... где требуется много сил и мало ума, вы могли и можете работать. Вы не ест специалист. Хотите, — Саломе полистал блокнот, — хотите двадцать рублей в месяц? Вставайте завтра в шесть утра к обрезному станку. Работа легкая — резать концы у экспортных досок. Другой работы пока нет. Ваше слово?..

— Согласен, — другого слова Иван сказать не мог, чтобы не остаться без работы и без денег.

— Ваша фамилия, имя, отчество?

— Тягунов Иван Петрович.

— Паспорт есть?

— Есть.

— Вот вам записка. Идите сейчас в контору. Нужен почлег? В бараке нары и... клопы бесплатно. За рыбкинское наследство денег не берем... Кто следующий? Войдите!..

Прием у Саломе продолжался...

В бараке, на голых тройных нарах, с мешками и кошелками у изголовий располагались пильщики в ночную пору. Спали бок о бок, вплотную. Невыносимо спертый воздух, грязь, копогь... Единственный под потолком тусклый керосиновый фонарь, бочка сырой воды у самых дверей, длинный стол с изрезанной столешницей, длинные, неуклюжие скамьи... Здесь жили временные. Для постоянных, кадровых пильщиков были отдельные комнаты. Жилье в общем бараке чем-то напоминало Тягунову камеру пересыльной тюрьмы. Разница была лишь в том, что из тюрьмы нельзя было отлучаться, зато там не тройные, а только двойные нары, и поддерживались чистота и порядок. Здесь и этого не было. Приткнувшись на средних нарах у стены, Тягунов кое-как провел первую беспокойную ночь. За полчаса до выхода на завод пронзительный и протяжный гудок поднял людей. По узкой, протоптанной в снегу дорожке пошел на завод и Тягунов.

Работа была несложная, но требовала большой подвижности, иначе мог образоваться завал необрезанных досок, чего, по словам старшего мастера, во избежание штрафа допускать не полагалось. Кроме того, мастер — сухой, жилистый, с редкой бороденкой и плутоватыми глазками, — показывая, как надо накладывать доски на станок и пускать их в окантовку к жужжащей круглой пиле, предупредил Тягунова:

— Смотри, не дремли тут, гляди в оба, а то можешь без руки остаться. Ведь тебя взяли потому, что вчера здесь обрезчику Пашке Загадкину три пальца напрочь отхватило...

К концу дня Иван изнемогал от непривычной работы. И стоило ему только добраться до барака, наскоро поужинать, перекинуться несколькими словами с соседями по нарам, как его охватывал сон. И так изо дня в день. В воскресные дни полагался отдых. «Временные» из ближних деревень на сутки уходили домой. В бараках оставалось не больше половины людей, да и те отлучались в село, на базар за мороженой рыбой, картошкой и хлебом.

Однажды, когда Тягунов присмотрелся к жилью в бараке, каждого узнал по фамилии, и кто что делает на заводе, и кто чем живет, — решил он поговорить с людьми по душам.

— Вот что, ребята, — сказал он, — скверно мы тут живем и сами во многом виноваты. Давайте наведем кое-какой порядок!

Те, что стояли поближе, прислушались, кое-кто пренебрежительно бросил:

— Наводи, коли умеешь, да досуга много...

— Нам-то что, это дело хозяйское, а мы хозяева у себя в деревне, — поддержал другой.

Тягунов спокойно выслушал и продолжал громче, чтобы слышали все в бараке:

— Со мной, ребята, такой случай сегодня вышел: орудуя я у обрезаго, дощечки поднимаю, подсовываю, покидываю, и ни до чего мне дела нет, — по сторонам не гляжу. А в это время откуда-то со стороны чёрт принес самого Саломе. Шум от пилы, ничего не слышно, а он подошел и громко говорит: «Вы почему шапку не снимал? Это ссть свинство!.. Начальство видеть надо». Ничего не подделаешь, снял я шапку и говорю с поклоном: «Прошу прощения, господин управляющий. Не знал такого порядка, да и не заметил вашей милости. А что касается свинства, то это верно: действительно, у вашей милости мы живем в грязных бараках, по-свински. Кормимся в запыленной курилке такой похлебкой, что и свиньи, пожалуй, не будут кушать — побрезгуют...». Ничего он мне не сказал на это, только погрозил пальцем и пошел вместе с мастером в строгальный цех. А я подумал, ребята: чёрт с ним, с хозяином, а порядок мало-мальски человеческий мы бы сами могли навести. Вот хоть в бараке: пол здесь никогда не мылся, стены и потолок не протирались, а мы разве это сделать не в состоянии? И потом, у каждого в деревне есть наволочки, постельники холщовые, так принесите их, набейте сосновой стружкой. Плохо ли на мягком отдохнуть? А потом надо потребовать от хозяина, чтоб и баня была для всех. Летом баню река заменит, а осенью, зимой, весной без бани нельзя. Если на Саломе поднажать, то и столовая с кухней у нас будет.

— Дождидайся! При Рыбкине тоже в курилке кормились, так уже заведено. А вместо бани — у себя дома в печь слазать да веничком отхлестаться, и — будь здоров.

— Оно, конечно, если бы все сообща, то кое-что вышло бы...

— Определенно выйдет! — наставлял Тягунов. — Главное, надо дать управляющему почувствовать, что мы — сила! Артелью города берут. Дружно — не грузно, а врозь — хоть брось... Давайте, начнем с бараков...

Договорились. В канун воскресения вечером рабочие сообща взялись наводить порядок. Горячей водой из кочегарки промыли начисто пол и степы; потолок выбелили известкой, стёкла в рамах прочистили, со стола соскоблили грязь. Для вентиляции прорубили в стене отдушину. В коридоре пол засыпали опилками. У сытинского книгоноши вскладчину на целковый купили десять разных картинок. Барак превратился в приличное общежитие. Саломе заглянул и сказал, усмехаясь:

— Не барак это есть, а гранд-галерея!

Одну за другой он пересмотрел все лубочные картины на темы русских народных песен, и, ни к кому не обращаясь, сказал одно непонятное слово:

— Примитив!..

Кто-то наугад ответил:

— Чем богаты — тем и рады...

О столовой, о бане, о прачечной и других бытовых нуждах рабочих сначала шли только разговоры. Потом на имя управляющего было написано прошение: построить на заводе баню с прачечной и открыть для рабочих столовую. Бумагу подписали все грамотные; неграмотные ставили кресты. Не надо было уговаривать Тягунова отнести эту грамоту к Саломе.

Придя в кабинет к управляющему, Иван развернул перед ним исписанный неуклюжим почерком лист:

— Что это такое? — спросил Саломе и, бегло взглянув на бумагу, презрительно сжал тонкие губы. — Расскажите своими словами, в чем дело.

— Господин управляющий, рабочие просят, чтобы на лесопильном заводе была баня, прачечная и столовая. Вот их прошение.

— Рабочие должны знать, какой вид имел завод при старом хозяине, — отвечал управляющий. — Садитесь и послушайте, что я скажу: при старом хозяине, Рыбкине, не была баня, не была прачечная, не была столовая. Он работал и получал от завода доход более десять лет; мой хозяин, Оскар Стювени, пользуется предприятием первый

год, и вы хотите ему ущерб?.. Вы ничего не знаете. Переоборудование цехов, амортизация стоили больших средств. Ведь это нужно оправдать. А вам сегодня — баню, прачечную, столовую, завтра потребуете церковь, театр, еще что вздумается? Нет, это несерьезно! А подумали вы — из каких дополнительных источников могу я выделить средства на удовлетворение ваших... ваших прихотей?

— Подумали, господин управляющий.

— Говорите.

Тягунов на минуту призадумался, стоит ли говорить управляющему, но всё же решил сказать:

— Мне кажется, легко можно устроить в курилке мельницу, а вместо курилки построить настоящую столовую-кухню.

— Как мельницу? — усмеялся и в то же время насторожился Саломе.

— А так: внизу под курилкой проходит от двигателя вал. Я не техник, не инженер, а думаю: если бы на этот вал посадить еще маховичок, да протянуть от него шкив под курилку, поставить шестеренки и провести сквозь потолок наверх два мельничных постава? Доход от помола зерна употребить на общие рабочие нужды.

— Слишком, как вам сказать, легко получается, — заметил в раздумье Саломе и начал в блокноте проводить карандашом линию шкива от воображаемого вала. — А что будем молоть? Откуда же будет зерно? — недоверчиво спросил он.

— От крестьян из окружающих деревень, — ответил Тягунов. — В деревнях старые ветрянки, шатровки и столбняки рушатся, новых мельниц не строят. Многие мелют вручную. А на единственной водяной мельнице, что на Кихте-реке, живодёр Митяха Тоболкин дерет с народа за помол три шкуры. А ваша мельница сбила бы спесь с Тоболкина... Можно удешевить за помол плату в два-три раза.

— Удивляюсь, почему я сам не подумал об этом, — сказал управляющий. — Хорошо, я подумаю. Эта просьба можно принять. Остальное пока рано. Мельница — это есть не плохо. — Саломе продолжал чертить в блокноте и подсчитывать, какое количество зерна могут смолоть два постава за сутки и какой может быть доход от мельницы.

— Хорошо. Ступайте, — сказал он всхливым тоном. — Ступайте, мельница, пожалуй, будет. Баня, кухня, прочее —

пожалуй, спешить не надо. До свидания. Устроим мельницу, быть тебе мельником; дам помощника, жалованье прибавлю... Твоя голова правильно работает... До свидания.

Вышел Тягунов от Саломе, остановился возле конторы, посмотрел по сторонам — не может опомниться. Чёрт знает, будет ли польза людям от того, что Саломе по его подсказу устроит мельницу? Одно ясно — барыши англичанина увеличатся. А улучшатся ли условия жизни рабочих?

В бараке Ивана обступили лесопильщики:

— Ну как, будет баня?

Кто-то, опережая Тягунова, ответил:

— Если исправник с казаками задаст...

— погоди, не мешай, дай доброму человеку слово сказать.

— Да, что, ребята, насчет наших нужд Саломе мычит, но не телится. Что-то надо придумать такое, подталкивающее, тогда может быть раскошелится.

— Думай, не думай, мы — свое, а он — свое.

Двухпоставную мельницу при лесопильном заводе Саломе не замедлил построить.

В тот день, когда она была пущена в ход, началась война с Германией. Тогда, встревоженные событиями, рабочие лесопильного завода забыли о своих требованиях к хозяину. Набор за набором. И люди призывных возрастов пошли воевать за царя, в котором они не нуждались, пошли отстаивать веру православную, на которую никто не посягал и которая столетиями служила испытанным и верным средством насаждения темноты и невежества.

В приемной комиссии, когда призывали Тягунова, урядник Киселев шепнул воинскому начальнику:

— Этот, ваше благородие, судился и ссылке имел. Не надежный...

Тягунов получил «белый билет» и вернулся на завод. До осени работал он на обрешном станке, а потом, когда освободилось место рамщика, получил повышение и отдельную тесную комнату в заводском поселке.

XIX

Завод работал не на полную мощность, многие рабочие и половина лесорубов, заготавливающих лес для распиловки, были мобилизованы в армию. Кроме того, отправлять пи-

ленный лес по Марининской системе через Петербургский порт в Англию во время войны не было возможности, а через Сухону и Двину с перегрузкой в Архангельском порту — не было расчета, — по тому пути гораздо дешевле обходился беломорский, архангельский лес.

Лесопилка Оскара Стювени под управлением его доверенного, Эдуарда Саломе, в эти годы с персбоями и простоями пилила лес на внутренний рынок.

Иван Тягунов продолжал работать рамщиком, а свою Ефросинью устроил укладчицей досок. Подросший Петька перешел учиться в волостное министерское училище, где учеников и учителей было в пять раз больше, чем в катромской школе. Сначала Петька робел, сидел тихо и скромно на задней парте, даже на переменах не принимал участия в шумных шалостях учеников. Потом понемногу привык и подружился с заводскими ребятами. Зимой, каждое утро, едва начинало светать Петька привязывал к стеганым валенкам железные коньки — подарок отца — и вперегошки с заводскими дружками мчался по льду в Устье-Кубинское. Пока он учился в первых классах арифметике, русскому языку и закону божьему, отец в свободное время мог еще помогать сыну и требовать, чтобы тот не отставал от других учеников.

Когда же Петька перешел в четвертое, а затем в пятое отделение двухклассного училища, Тягунов махнул рукой и сказал:

— Ну, Петька, теперь выплывай сам. Дальше я ничего в твоих географиях и геометриях не понимаю. Учись, а уж мы с матерью на тебя сил не пожалеем.

— Нам ничего и не надо, — соглашалась в таких случаях Ефросинья, — лишь бы он человеком стал, конторщиком, либо приказчиком, чтоб и жалованье хорошее, чтоб и не тяжело ему было...

Конечно, Петька в свои двенадцать-тринадцать лет уже неплохо разбирался, кому хорошо живется хотя бы у них на лесопильном; стать в свое время конторщиком или приказчиком было, по его разумению, очень неплохо. Бывая в селе у ребят-одноклассников, Петька нагляделся таких вещей, которые ему и во сне не виделись. Как-то, сидя за обедом с отцом и матерью, Петька, как взрослый, тяжело вздохнул и спросил:

— Тятя, почему мы такие небогатые? Ничего у нас занятого нет...

— Забавно! — удивился отец. — Какого ты богатства захотел, Петька?

— Бывал я у Ганичевых, Железковых, Долгановых — вот живут, так живут!.. На стенах — ружья, картины, часы с музыкой, на полу — цветы, ростом до потолка, на подоконниках — граммофоны, а в комнатах — сундуков, шкафов-то! И едят в будни белые пироги, а у нас и по воскресеньям овсяники да яшники с мякиной...

— Эх, Петька, Петька... Мало ли чего у них есть и чего у нас нет... Люди живут по-разному. И зачем тебя занесло в эти дома?

— Ребята позвали.

— А ты их к себе звал?

— Нет, мне нечем похвастать.

— Ах вот оно что!.. И весь ты еще выше горшка на два вершка, а уже начинаешь не так соображать! Смотри, паренек, не завидуй чужому добру и не стыдись своей бедности. Мы и бедны — да честны. А эти усть-кубинские хозяйчики и поторговывают и поворовывают — на все руки от скуки!.. Одно слово — коммерсанты. Смотри, больше к ним ни погой...

Ефросинье Иван сказал:

— Мы с тобой так заработались, что о Петьке забывать начали, а за ним теперь-то глаз да глаз нужен, видишь, каких он себе товарищей нашел: Ганичевы, Долгановы, чего доброго к миллионеру Никуличеву проберется и будет в рот смотреть — чем они, гады, кормятся!.. Воспрети Петьке такие вольности. Мы не заводчики, не коммерцией занимаемся, а своими руками пропитание добываем...

После разговоров с отцом и матерью Петька перестал ходить к ребятам из богатых домов. Но чувство зависти к ним осталось.

Прочитав от начала до конца весь «Всеобщий русский календарь», Петька узнал из рекламы, что можно бесплатно выписывать из городов прейскуранты на разные товары. Тогда-то и пришла ему в голову мысль самому выступить в роли коммерсанта. Для этого понадобилось совсем немного «оборотных» средств. Выиграв как-то у ребят десятка полтора старых перьев, он выручил за них пятнадцать копеек и купил на почте пять открыток. Однажды вечером, управившись с уроками и пользуясь домашним затишьем, — отец с матерью куда-то ушли, — он разложил перед собой

календарь и начал излагать на открытках свои убедительные просьбы:

«Москва, Кузнецкий мост, № 1. Поставщику двора его величества Павлу Буре. Прошу выслать бесплатно прейскурант всех часов по адресу: Вологодская губерния, Устье Кубинское, завод Оскара Стювени, Тягунову Петру Ивановичу».

«Петербург, Невский. Компания Зингер. Убедительно прошу выслать бесплатно прейскурант всех швейных машин...» (и ниже адрес).

«Город Ижевск. Оружейный завод, Петрову. Покорнейше прошу выслать бесплатный прейскурант всех ружей и револьверов...».

«Петербург, Садовая, 29. Винокурову и Синицкому. Срочно шлите полный прейскурант всех граммофонов, балалаек и прочих музыкальных инструментов...».

Хотел еще Петька выписать самоучитель гипнотизма, хиромантии, астрологии и графологии, но названия показались ему столь мудреными и скучными, что он решил одну открытку оставить про запас.

Прошло недели две. Почтальон принес Петьке три нарядных бандероли от дворцового поставщика Павла Буре, от оружейника Петрова и владельца музыкального магазина, что в Питере на Садовой. На бандеролях — напечатанные на машинке адреса. В раскрашенные прейскуранты вложены изящные, на лощеной бумаге письма. Петька развертывает одно, другое, третье, читает:

«Глубокоуважаемый господин Петр Иванович!».

Приятно Петьке, что его так величают богатые люди. Расплываясь в улыбке, он внимательно, слово за словом, поглощает трафаретные письма:

«Покорнейше просим Вас, Петр Иванович, за всеми музыкальными инструментами обращаться только к нам. Наши инструменты лучших мастеров, с полной гарантией за качество, высылаются немедленно, по получении 25 процентов задатка наложенным платежом. Упаковка и пересылка за наш счет. Просьба ознакомиться с прейскурантом. Ждем Ваших заказов. Оптовым покупателям на сумму от 1000 рублей и выше — скидка 3 процента против установленных цен. С почтением Винокуров и Синицкий».

В таком же примерно духе «к глубокоуважаемому господину» Петьке обращался и владелец Ижевского оружейного завода, доказывая, что ижевские ружья, сходные

по цене и лучшего боя, будут высланы ему немедленно по получении задатка наложенным платежом.

В преёскуранте Павла Буре очень понравились Петьке часы с кукушкой, но их за трехкопеечную открытку не выпишешь.

Все три фирмы в вежливой форме вступили с Петькой в торговые переговоры. Только компания швейных машин почему-то молчала. Ужели по почерку определили, что пишет несостоятельный клиент? И Петька обращается к Зингеру вторично: израсходовав последнюю открытку, просит прислать ему преёскурант. Уже снова из торговых контор Буре, Петрова, Винокурова и Сеницкого пришли письма, предупреждающие Петьку о том, что цены на товары в связи с войной повышены на пятьдесят процентов и что повышение цен будет зависеть и впредь от внешних и внутренних обстоятельств. Но Петьке было ровным счетом наплевать на все эти обстоятельства. Его возмущало молчание компании Зингер.

И вот однажды в воскресный день, зимой, не предупреждая никакими преёскурантами и письмами, на лесопильный завод Оскара Стювени приехал из Вологды агент компании Зингер. В широких розвальнях у него четыре швейные машины: две пожные, две ручные. Узнав, где живут Тягуновы, расторопный и обходительный агент, не говоря ни слова, втащил в комнату одну за другой все четыре машины. Иван, сидя за столом, в недоумении вытаращил глаза на назойливого продавца; Ефросинья, не понимая в чем дело, почему-то подумала: «Уж не выселяют ли нас из комнаты?», но Петька, один лишь Петька, сообразил, чем тут пахнет. Он быстро убрался на печь и одним глазком стал выглядывать из-за кожуха.

Расставив все четыре машины — две на пол, две на стол, агент — ловкий, прилизанный ярославец, — разделся, повесил пальто на гвоздь у дверей и представился Ивану Тягунову:

— Милостивейший государь! Вы изволили обратиться к нашей компании за преёскурантом. Но так как компания Зингер, не в пример другим, имеет свои представительства во всех крупных городах империи, то мне, агенту вологодской конторы, и поручено ознакомить вас с образцами продукции почтенной фирмы Зингер. Прошу вас, милостивейший государь, выбирать любую машину. За наличные — со скидкой, в рассрочку — с надбавкой... Прошу извинения,

что не имел возможности быстро откликнуться на вашу просьбу. Сами судите: клиентов много, агентов мало. Доставка от города досюда пятьдесят верст — судите сами. Ну-с, пожалуйста! Можете выбирать...

И не успел Иван Тягунов рта открыть, как агент быстро снял с ножной машины лакированный колпак и начал на суконном доскуте выстрачивать разные крендели.

— Пожалуйста-с, полюбуйте! Полная гарантия за качество на двести лет. Только держите машину в сухой комнате, почаще смазывайте. А вот полюбуйте, хозяйюшка, на ручную, беловшейную!.. — С еще большей ловкостью агент принялся крутить ручку машины, показывая, как замечательно она строчит и по ситцу, и по сукну.

Когда он окончил свои манипуляции и вопросительно уставился на хозяина, тот, недоумевая, проговорил:

— Машины-то хорошие, ничего не скажешь, только мы не при средствах, чтобы их иметь. Вы уж кому-нибудь другому в селе отвезите, либо в Лахмокурье, там рыбаки — народ денежный, не наше горе. А на заводе, по-моему, охотников на этот товар мало.

— Зачем же тогда было требовать преёскурант?

— Я ничего не требовал, — пожимая плечами, ответил Иван, — тут что-то не то...

— Как не то! Я из главной конторы получил ваши запросы — две открытки. А вот лично мне указание конторы предложить вам товар на выбор!

Иван взглянул на открытки, и у него чуть глаза на лоб не полезли. Петька, услышав, что разговор принимает плохой оборот, нырнул в угол, в потемки, и стал соображать, как избежать взбучки. Долго думать ему не пришлось, до его ушей донесся резкий и требовательный голос отца:

— Петька! Слазь!..

Не спеша, засовывая ноги в валенки, Петька спустился с печи и, от волнения потирая рукавом под носом, нерешительно подошел к отцу.

— Это ты писал, дурья голова?

— Я.

— Ты понимаешь, что наделал?! Ну, теперь покупай машину, богач ты этакий!

Иван начал расстегивать на себе кожаный ремень. У Петьки дрогнули губы.

— Тятя, я выписывал только преёскурант...

— На кой он тебе чёрт сдался? — Ремень, согнутый

вдвое, внушительно раскачивался в руке отца. Ефросинья заслонила Петьку.

— Отец, не хлещи, не надо... Разберись сначала...

— Прейскурант — для чего он тебе?

— Картинки смотреть. А машин я не просил, это дяденька сам придумал привезти, я тут невиноват... — оправдывался осмелевший Петька.

— Пожалуй, и в самом деле не виноват, — смилостивился отец, опоясываясь. — Ты ведь еще, кажется, какие-то прејскуранты получал?

— На часы, на ружья и револьверы, еще на баяны, рояли и фисгармонии.

— Эх, поросенок ты этакий! Ты хочешь, чтоб к нам еще и фисгармонию затащили? Где у тебя ум, Петька?

Но Петьке не пришлось отвечать, где у него ум. В разговор вмешался агент компании Зингер. Это был, видимо, неунывающий ловкач. На Петьку он не обиделся, наоборот — подсев ближе к Ивану, стал его убеждать:

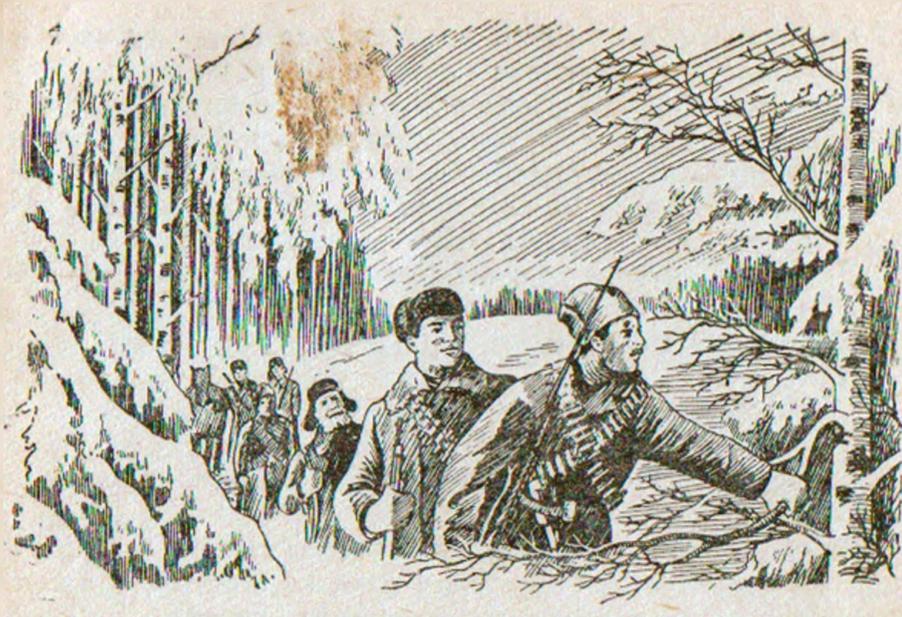
— А знаете что, милостивейший государь, из вашего сынка со временем деловой человек получится. Смотрите, какой он сообразительный! С таких-то лет, а уже конъюнктурой и всякой коммерцией интересуется!.. Я вам не советую на сына сердчать, а вот давайте-ка, берите любую машину в рассрочку.

Агент заметил, что у Ефросиньи глаза разгорелись на ручную беловшвейную. Снова он сел за машину и начал крутить фарфоровую белую ручку. Машина делала безукоризненный шов на суконном лоскуте.

— Да это же дар, не купля! Это же клад для семьи! Вы все будете обшиты хозяйкой скоро и красиво, да если она приспособится портняжить, — машина вмиг окушит себя. Это доказано тысячи тысяч раз! Иначе бы не существовала такая богатая фирма. Берите, жалеть не придется. Сейчас аванс двадцать пять рублей, два года рассрочки по три рубля в месяц и машина с сего часу ваша...

Посоветовался Иван с Ефросиньей, подсчитали деньги, у кого-то заняли пятерку, и агент, взяв с Тягунова обязательство, оставил ручную машину и довольный поехал во свояси.

Ефросинья так обрадовалась покупке, что ласково и долго гладила Петьку по голове, а потом, в тот же вечер, скроила из своей выцветшей кофты и начала ему шить почти новую, бледнорозовую кашемировую рубаху.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Скоро прошел патриотический угар первых месяцев империалистической войны. Глубокий, неизгладимый след оставляла она. За тысячи верст в тыл прибывали тяжело раненные, калеки. Возрастало число убитых. Уже не раздавались заливчатские песни новобранцев, да и возраст призывников был не тот, что летом и осенью четырнадцатого года: ратники из запаса, бородатые мужики, провожаемые плачущими домочадцами, ворча толпились около приемных пунктов.

Жизнь с каждым днем становилась трудней. На лесопильном заводе Оскара Стювени рабочие давно уже ели колб и овсяный хлеб с мякиной.

Росла спекуляция, ширилось в народе недовольство. Торгаши ревниво прятали и сберегали на черный день остатки товаров и продовольствия. Полицейские и другие чины царской службы, чувствуя озлобление народа, действовали осторожней и старались не показываться там, где слышался возмущенный голос толпы.

Отправляемые на фронт солдаты уже не раз срывали с усть-кубинского урядника погоны и безнаказанно били стражников. Они же распевали частушки про царя и его семейство. Да что частушки, которым не было числа, — открыто ходили в народе печатные книжки с длинным названием: «Про царя Николашку, про его мать Машку, жену Сашку, про тетку Лизавету и про всю сволочь эту». О Гришке Распутине появился акафист с весьма непотребными словами.

Люди читали, смеялись и, покачивая головами, говорили:

— Недолго, кажись, осталось царю царствовать.

— Что-то будет?

— Воля и конец войне! — понимающе заключали многие.

В начале весны, в семнадцатом, дошли слухи о революции в Петрограде, об отречении царя от престола и о том, что правительство временно возглавил какой-то адвокат Керенский. И тогда даже в захолустном усть-кубинском крае начались изменения, активным участником которых стал Иван Тягунов и свидетелем — подрастающий Петька.

Много книжек и газет перечитал Иван Тягунов в тот богатый событиями год, глубже стал понимать, что происходит вокруг. И рабочие, бывало, приходили к нему, интересовались, спрашивали о том, что творится в Петрограде, когда будет конец войне и какая постоянная власть заменит временную. На что мог ответить Иван — отвечал, на что не мог — коротко отзывался: «Поживем — увидим». А что касается «постоянной» власти, то был твердо убежден, как и многие на заводе, — власть будет народная.

Война между тем продолжалась.

В это лето управляющий лесопильным заводом Эдуард Саломе получил из Англии от своего хозяина несколько телеграмм. О чем в них говорилось, никому, кроме почтового чиновника, не было ведомо.

Но, судя по всему, Саломе собирался покинуть завод. По словам его прислуги, Катьки Кудряшовой, все кожаные с медными замками и застежками чемоданы были уже наготове.

В начале осени на завод самовольно вернулись с войны два солдата с винтовками — бывшие рабочие. На удивление всем, они по-хозяйски стали распорядиться на заводе, вмешивались в дела управляющего, относились к нему с такой

требовательностью, что тот боялся в чем-либо им противоречить. Надо было кому устроиться на работу или получить пособие за ушибы и телесные повреждения, а также по другой нужде, — обращались не к управляющему, а к солдатам-фронтовикам: те разговаривали с Эдуардом Саломе совершенно независимо и, мало того, внушительно постукивая прикладом по полу, говорили:

— Господин управляющий, вы поступайте теперь не так, как хотели бы, а как время подсказывает. Вы хотя и иностранец, но на нашей земле устанавливаются новые порядки. Придется подчиняться.

— Кто вас уполномочил? Кто вы есть?.. — робко справлялся управляющий.

— Мы — большевики, нам Ленин приказал не воевать за интересы капиталистов, а возвращаться с оружием в руках домой. Что будет дальше — увидим. Временная власть капиталистов на волоске.

— Но позвольте, где же ваш Ленин? Он прячется от Керенского. Как же вы ему подчиняетесь? На чем строятся ваши расчеты? Странно! — Саломе пожимал костлявыми плечами, делал вид, что удивлен и находится в неведении происходящих событий. Но это было не так; он знал не меньше, а быть может и больше вернувшихся с фронта солдат.

Больше того, Саломе был участником совещания буржуазии и помещиков, происходившего 12 августа в Москве. Он слышал визгливое выступление Керенского, который угрожал подавить нарастающее революционное движение.

Уже тогда эти угрозы казались тщетными. Глава Временного правительства не в состоянии был скрыть свою робость перед надвигающимися грозными событиями. Саломе это отлично знал. Он даже не постеснялся среди конторщиков завода рассказать анекдотичный случай, происшедший на этом совещании. Во время наигранного выступления Керенского позади него, как лакеи, стояли два адъютанта в английском обмундировании. Кто-то послал им записку: «Если вы лакеи, то переоденьтесь, если офицеры, то садитесь с нами!». Пристыженные адъютанты удалились со сцены...

Достаточно осведомленный о событиях, происходивших в тот знаменательный год в России, Саломе не из простого любопытства присматривался к большевикам, представляв-

ним уже готовую силу для окончательного свержения капиталистического строя.

Рабочие-большевики держались с управляющим уверенно и смело.

— Нет, господин Саломе, — отвечали они на провокационные вопросы. — Ленин не из таких, чтобы прятаться. Наши товарищи оберегают его от продажных ищеек. Это мы знаем. И голос Ленина слышим в Петроградской газете «Рабочий». Да что вам говорить об этом! Мы с вами разного поля ягоды.

Сднажды на лесопилке была устроена сходка. Оба фронтовика рассказывали рабочим о положении в стране, о том, что временная власть капиталистов вот-вот будет свергнута, придет власть постоянная, рабоче-крестьянская и солдатская. А пока надо выбрать на заводе комитет, чтобы он заботился о рабочих, защищал их интересы, а хозяина контролировал и не допустил закрытия лесопильного завода.

У раскрашенной трибуны стоял задумчивый Саломе. Слабовато владея русским языком, он не был горазд на длинные выступления. Лишь изредка, жуя сигару, он прерывал солдат, говоря о том, что и его радует обновление и что союз между Англией и обновленной Россией будет крепнуть, тем более, что у России много царских долгов и обязательств в отношении Англии.

Один из ораторов, Александр Толчельников, ответил ему с трибуны:

— Во-первых, гражданин чуждой державы, не мешайте, когда выступают другие; во-вторых, насчет долгов разговор будет особый. Правду говорят большевики, что царские долги всем державам оплачены полностью и с лихвой нашей солдатской кровью. А что касается контроля над производством, то это теперь наше, рабочее дело. Конечт терпению и обидам нашим... Да здравствуют свобода и порядок!..

— Порядок зависит от хозяев, — заметил Саломе, — порядок будет, если рабочие перестанут вмешиваться не в свое дело...

— Теперь не старый режим, — возразил Толчельников. — Рабочие во всем разберутся, а фабрики и заводы будут принадлежать народу. Вот почему нам нужен контроль над производством, над хозяином!.. И на этот счет есть указание товарища Ленина и нашей рабочей больше-

вистской партии. Разъяснение по этому вопросу сделает рамщик лесопильного завода Тягунов!..

Со свертком газет и книжек протолкался сквозь толпу к трибуне Иван Тягунов. Встав рядом с вооруженными солдатами, он снял фуражку, пригладил волосы и, волнуясь, начал свою первую перед народом речь.

— Свободные граждане!.. Давайте поговорим о деле. Сегодня почти всю ночь я и мой Петька читали газеты, привезенные товарищами фронтовиками. На многое там, в газетах, нашему брату большевики открывают глаза. Буржуазия и царские генералы, объединяясь, встают против народа, чтобы не допустить революции, чтобы не было советской власти. А богачи, фабриканты и заводчики уже закрывают заводы, увольняют рабочих, создают людям безвыходные условия и в этом винят большевиков. Но мы не малые дети, разобраться сумеем. Вот и у нас есть слушок, будто господин управляющий готов смотать удочки: закрыть завод, уволить рабочих... А газета партии большевиков пишет, что без разрешения рабочего контроля воспрещается останавливать заводы или сокращать рабочих. Не для того мы стряхнули царя, чтобы хозяева по-прежнему властвовали над нами. И у нас на заводе контролирующим хозяином должен быть теперь не Саломе, а свой, заводский комитет из рабочих и тех служащих, которые стоят на стороне рабочих. И пусть этот комитет раскроет все хозяйские книги и счета и отчитается в барышах, тогда мы подскажем управляющему — стоит ли ему думать о закрытии завода, или же пусть дело идет своим ходом. Вот так... Я за то, чтобы у нас был рабочий контроль. Ведь это всё — и завод, и дома, и барки — всё нашей рабочей силой создано. Имеем же мы право своим глазом за всем этим присматривать. Уж если на то пошло, так мы и охрану свою приставим...

Никем не прерываемый, Иван говорил долго о контроле, об охране завода и о том, чтобы к будущему сезону лес заготавливался своевременно, и чтоб барыши от завода не текли в глубокий карман Оскара Стювени, — хватит, нажилса он, — а чтоб доход от лесопильного завода шел на улучшение жизни рабочих.

Дружные крики «ура» поддержали речь Тягунова. Петька стоял рядом с матерью, дергал ее за рукав кацавейки и не без гордости говорил:

— Тятка-то у нас будто за главного, и речь говорит, и руками размахивает. И народ с ним весь согласный.

Потом опять выступил Толчельников... Выбрали девять членов заводского комитета, в числе их был и Тягунов.

II

Первое заседание заводского комитета происходило в кабинете управляющего в его присутствии.

Председательствовал Толчельников.

Повестка дня: о восьмичасовом рабочем дне на лесопильном заводе, о проверке конторских книг и составлении полного отчета в коммерческой деятельности конторы и разнос.

Тягунов сидел за столом управляющего. Остальные члены заводского комитета разместились поодаль на венских стульях. Когда председательствующий огласил повестку дня, Тягунов сказал:

— Я думаю, надо начать заседание с разного вопроса.

— То есть? — спросил Толчельников, недоумевая.

— Прежде чем обсуждать наши заводские рабочие вопросы, я прошу убрать со стены портрет английского короля. Не место ему здесь.

— Правильно! — подтвердил председательствующий. — Кто за снятие английского короля, — поднимите руки. Так... Единогласно. Господин управляющий, потрудитесь снять вашего Георга...

Саломе ткнул сигару в пепельницу, а так как он был высокого роста, то, не вставая на стул, снял портрет со стены и поставил на пол, повернув короля лицом к стене. Всем понравилась безмолвная покорность управляющего также в разрешении других, более существенных, вопросов.

Конторщик Кашин ровным почерком писал протокол заседания:

<i>Слушали:</i>	<i>Постановили:</i>
1. О восьмичасовом рабочем дне на лесопильном заводе. Докладывает товарищ Толчельников.	1. Поскольку в программе рабочей партии большевиков есть пункт о введении восьмичасового рабочего дня, считаем это правильным и при-

Слушали	Постановили
<p>2. О контроле над всей хозяйственной деятельностью лесопильного завода Оскара Стювени и о полной отчетности управляющего перед рабочими. Докладывают товарищи Кашин и Тягунов.</p> <p>3. Разное. О культурной жизни на заводе. Докладывает товарищ Тягунов.</p>	<p>нимаем без ущемления заработка. Новый распорядок ввести с завтрашнего дня, с 17 сентября 1917 года.</p> <p>2. Установить контроль над заводом. Заводскому рабочему комитету предоставить право производить обследование всех конторских записей, а также контролировать запасы заготавливаемого леса. Предупредить управляющего Саломе, что сокрытие документов от контроля считается поступком, уголовно наказуемым. Имеющихся на заводе сторожей вооружить дробовиками и возложить на них строгую ответственность за охрану завода.</p> <p>3. Выписать за счет заводских прибылей выходящие революционные газеты. Затребовать из Вологды живые картины для показа рабочим, а также ораторов по политическим вопросам.</p>

После заседания Толчельников и Тягунов вместе вышли из заводской конторы.

— Главное во всяком революционном начинании, — говорил Толчельников, — чтобы слово с делом у нас не расходилось. Ты думаешь, почему Саломе соглашается с нами? Он, шельма, надеется, что всё это так и останется на бумаге. Ну нет!.. Мы-то знаем, о чем сказано рабочему классу на шестом съезде партии. Ведь, что такое рабочий контроль и заводские комитеты? Это скоро полные хозяева производства. Рано ли, поздно ли — Советы возьмут верх. Временное правительство кричит о войне до победы, стреляет по рабочим, — всему этому вот-вот будет положен конец. Нам пора подумать о создании своей партийной организации, из рабочих. Надо подбирать людей смелых, реши-

тельных, честных. Ты, Тягунов, как думаешь, скажем насчет себя, Кашина, а?.. Кого бы наметить в члены ячейки?

Тягунов, подумав, сказал:

— Люди, конечно, есть. Сначала только поговорить надо. Желательно, чтобы из города приехал большевик-оратор от комитета. Тогда и ячейку можно основать.

— С городом увяжем. А всё же заранее следует подумать, из кого можно будет создать здесь организацию.

— Хорошо, мы это обдумаем, товарищ Толчельников.

Тягунов поднялся по лестнице к себе в комнату, а Толчельников пошел на стекольный завод Никуличева — встретиться там и поговорить с вернувшимися фронтовиками.

При восьмичасовом рабочем дне у Тягунова выкраивалось свободное время, которое теперь отнимали заседания заводского комитета. Работы хватало на всех: нашлись средства на оборудование бани и столовой; в амбарном цехе, в строгальном и в кочегарке в окнах недоставало стекол, а приближалась осень, — пришлось потребовать от конторы и управляющего немедленного ремонта.

К открытию заводской столовой впервые привезли кинопередвижку. Картина называлась «Ермак — покоритель Сибири». Два вечера и две ночи подряд крутили «Ермака», показывая славных русских храбрецов. Петька Тягунов два раза смотрел картину вместе с отцом, два раза водила его на сеансы мать, еще раз бегал с учениками, — и не надоело. Заводские и устьекубинские жители в эти дни созерцали, как чудо, сражающихся татар и казаков. От движения на экране с непривычки рябило в глазах и замирало сердце.

Когда в помещении зажигался свет, зрители тесным кольцом обступали киноаппарат системы «Кок», привинченный к табуретке, поставленной на стол. Аппарат не казался диковинкой, а поэтому показ живой картины вызывал еще большее восхищение. Петьку Тягунова «Кок» интересовал чрезвычайно. Долго и внимательно рассматривал он аппарат, а потом решил спросить киномеханика:

— Дяденька, скажи, а прейскуранты на эти машины высылаются?

— Какие прейскуранты? — удивившись серьезному вопросу, спросил механик.

— А вот такие, чтоб с картинками, с ценой, и как показывать картину?

— Этому делу специально учат. Подрастешь — узна-

ешь... Это тебе не вейлка какая-нибудь, а кинематограф. На пьесу увид одна такая штука!..

Петька вздохнул и, проникнутый уважением к механику, огонел прочь.

Вообще в этом году Петьке сильно повезло. После пятикратного просмотра «Ермака» отец сводил его в Устье-Кубинское на настоящий спектакль. Петька не знал названия пьесы, — да это было и не важно. Больше всего его поразило, что на улице уже подмораживало, выпал первый октябрьский снежок, а приезжие артисты ухитрились изобразить на сцене молнию с громом и шумом дождя. Правда, во время спектакля произошел небольшой казус, но зрители сочли, что это так и нужно. Дело в том, что в пьесе во время грозы среди расставленных деревьев должен был прогуливаться медведь. Артист, игравший роль бессловесного животного, не во-время изрядно угостился самогонном и потому не был допущен на сцену. Находчивый режиссер поручил роль медведя сторожу народного дома — человеку трезвому и богобоязненному. Натянув на него медвежью шкуру, режиссер показал старику, как нужно будет в указанный момент пройти на четвереньках по сцене. Скороспелая репетиция происходила как раз тогда, когда публика уже заполнила народный дом и в ожидании спектакля топотом и свистом призывала артистов начинать первое, запоздавшее на час, действие. Наконец раздвинулся полотноный занавес, и публика замерла. Смотрели внимательно: там, где следовало смеяться, — смеялись; где подобало вздыхать — вздыхали. Иногда неискушенные зрители даже вмешивались в разговоры действующих лиц, оставляя замечания:

— Вот до чего доводит нехорошая жизнь... или:

— Оп, шельма, за другой ухлестывает, а евонная жёнка и не знает. Погоди, она тебе накрутит хвост...

Понимающие зрители шикали и призывали «некультурных» к порядку.

Петьке больше всего понравились медведь и гром. Это было во втором действии. По сторонам сцены стояли настоящие срубленные на болоте сосны. Из-за сосен показался словно бы настоящий медведь. Кое-кто из сидевших в первых рядах испуганно шарахнулся. Кто-то вскрикнул, кто-то авторитетно сказал: «Такого дьявола надо бы на цепи держать!..» Медведь протопал по сцене, рывкнул. Потом за кулисами разом в дюжину сковород грянул гром,

молнией блеснуло электричество. Но так как во время короткой репетиции сторожу народного дома этих условностей не показали, то он, невзирая на свое медвежье обличье, сам был напуган громом и потому, поднявшись на задние лапы, передней правой истово перекрестился и сказал:

— Господи, спаси!..

Публику это насмешило, однако набожность медведя многим показалась естественной. Но режиссеру было видней — действие сторожа противоречило ходу пьесы. Он собственноручно задернул занавес и, высунувшись между двумя полотнищами, стал пояснять зрителям:

— Свободные граждане! Мы приехали из уездного Кадникова с целью самостоятельного просвещения темных масс, никогда не выдавших спектаклей. Я извиняюсь перед вами за игру медведя, роль которого исполнена неправильно. Где это слыхано, чтоб медведь крестился и говорил при этом слова?! Эту ошибку мы исправим в следующий раз, ибо роль медведя сейчас играл не член нашей труппы. Так что прошу прощения... Спектакль продолжается!..

Поздно ночью, в лодке, ломая на реке тонкий, звенящий лед, Иван Тягунов с сыном и попутчиком возвращался после спектакля на лесопильный завод. Утомленный и прозябший, Петька сидел посреди лодки, дремал и, не открывая глаз, бормотал:

— Тятка, поедем еще... Шибко занятно...

Но отцу было не до зрелищ. На одном из очередных заседаний заводского комитета с участием всех рабочих слушали доклад управляющего. Доклад был очень длинный, скучный, весь состоявший из цифр и пояснений. Но, когда рабочие спросили Саломе, как обстоит дело с заготовкой леса на будущий год и готовы ли к приему леса сплавные участки и запань на Кубине, Саломе сказал без иронии, что теперь на заводе есть полухозяин — рабочий комитет, пусть он и заботится о будущем. А настоящий хозяин Оскар Стювени, обремененный заботами, еще не соблаговолил поделиться с рабочими своими планами.

Тогда председатель завкома встал из-за стола, провел рукой по лбу и сказал:

— Да, сегодня мы полухозяева. Мы учимся быть хозяевами. И скоро станем полными хозяевами. Я предлагаю записать в протокол, — и, сопровождая каждое слово взмахом руки, продиктовал секретарю: — Учитывая неясность

вопроса с лесозаготовками и своевременной подготовкой к сплаву, заводский комитет вместе с рабочими постановляет командировать в верховья Кубины для проверки и контроля своих представителей. Кого пошлем, товарищи?..

Решили послать на лесные участки Ивана Тягунова, а для проверки сплавных участков и учета такелажа командировать на неделю десятника Никиту. На другой день оба отправились выполнять поручение рабочих.

III

На Высоковской запани Никита нашел разбросанные, не прибранные к зиме багры, снасти и оставленные без присмотра на отмелях якоря и лодки. Оказалось, что бараки для сплавщиков запущены, стёкла выбиты, печи разворочены, кирпичи растащены. Заведывал всем этим заброшенным хозяйством некий Мазаников, жуликоватый делец, склонный ко всякой спекуляции. На запани было три сторожа. Вместе с Мазаниковым они, забытые хозяевами-лесопромышленниками в тревожном семнадцатом году, только тем и занимались, что воровали и распродавали исподтишка хозяйское добро, изготовляли самогон и резались в «двадцать одно». Мазаников, давно знавший караванного Никиту, встретил его приветливо, угостил самогомом и, будучи навеселе, завел с ним разговор:

— Никита, батенька ты мой, читаю газеты и ничего не понимаю: то Керенский, то Корнилов, то какой-то Каледин выхваляется, то Верховский, то большевики, — ничего не понимаю... Всё прахом идет!.. Живем вот тут, в опустелой запани, жалованья никто нам не платит, а жить ведь надо!.. Сплавное барахлишко растаскивается. Полиции никакой, никто никого не боится. Живи, как хочешь!.. Пей, дай, за полную свободу, за временное правительство и за временное житье на нашей земле. Всё временно, Никитушка, только рано ли, поздно — смерть объединит нас в постоянстве. Господи, что стало с Россией! А!.. Нет, нет... ты не отказывайся, пей...

Никита взял стакан, наполненный до краев мутной самогонкой.

— Ну, за временное, так и за временное, чтоб ему ни дна, ни крышки!.. Будем здоровы!.. — Выпил стакан амьельного самогона, но от второго стакана решительно от-

казался: — Спасибо... Пить-то пей, да дело разумеи. Я ведь сюда к вам, гражданин Мазаников, по делу. Вот бумага от заводского комитета: проверить состояние запани — как охрана, наличие такелажа и всё прочее. Придется засвидетельствовать актом...

— Ха! — изумился Мазаников. — Кому-то нужны эти акты и факты, когда вся Россия прахом идет! Что, без царя разбе лучше стало? Комитет, комитет... да плевать мне на все ваши комитеты!.. Жалованья ни от Саломе, ни от Никуличева, ни от других лесопромышленников нам нет? Нет. И спросу с нас, стало быть, никакого нет.

— Спросу нет, контроля за вами нет — вот оно что!.. — определил Никита с пониманием дела. — Это вот и называется саботажем. Ты говоришь, Россия прахом идет? О России же кому надо — позаботятся. А вы со своими сторожами гляньте, что творится на запани. Бывало ли такое беспризорство и воровство когда-нибудь?

— Нет, не бывало.

— А почему такое происходит?

— Не знаю.

— И вы не знаете? — обратился Никита к сторожам.

— Наше дело маленькое, он ведь у нас воротила.

— А ведь и с вас спросится. Куда девалось имущество — веренки, цепи, цинки, багры, топоры? Кто повывинчивал рамы из барачных? Кто разломал печи? Всё спросится!..

— Ух ты, какой строгач стал, тебя и не узнать, — подивился Мазаников и, отдуваясь, отставил подальше от себя стакан самогонки. — Право же, и не узнать. А Саломе что говорит?

— Ничего, держит по ветру нос и чего-то вынюхивает. Сейчас у нас и на Саломе управа есть — рабочий комитет. Во все дела вникает, всюду вмешивается. Вот и меня комитет с согласия общего собрания сюда направил. Может, месяц тому назад я прошел бы тут мимо безобразий, плюнул бы и ни слова не сказал. А теперь — шалишь!.. Вот бумага. А Толчельников, председатель, и заместитель его Тягунов, когда-то мой подчиненный шкипер, мне дали указание: никаких злоупотреблений не укрывать, всё описать и обо всем доложить.

— Ну и описывай, кто же тебе мешает... описывай... Да, ты ли это, Никита?

— Как видишь, Никита — Никитой, а порядок должен быть и при беззаконии. Придет время — будут и за-

коны. Нет, батенька, в Россию я верю, не пойдет она прахом, нет...

— А в гибели что сказано?! — пискливо выкрикнул один из пьяных сторожей — низенький, обросший густой, взлохмаченной бородой. Гибля что предсказывает, а?..

— Какая гибля? Библия, что ли? — спросил Никита захмелевшего спорщика.

— Нет, гибля, потому что гибель всему свету предсказывает. Ага, не знаешь? А лезешь надзирать да описывать, а чего ради?.. Пей-ка лучше самогонку!.. Не везде она есть... Хозяин, угощай гостенька, а то трезвый пьяному не товарищ. Ну, по стакашку! — Осмелевший низкорослый сторож залпом опрокинул в рот стакан самогонки, закусил огурцом и, покачиваясь на скамейке, зашел:

Шел я лесом, шел стороной,
Чую — пахнет самогонкой...

— Перестань! — прикрикнул на сторожа Мазаников. — Хватит!.. Ступайте-ка, присмотритесь — где, как и что, а мы с Никитой порассуждаем о путях жизни!..

Оба сторожа, пошатываясь, вышли. Домик Мазаникова стоял на взгорье, над Кубиной, мстами покрывшейся слоем льда, по которому ветром переметало снежок. За окном расстилалось длинное плесо реки. Кое-где посредине чернели полыньи. Мороз не успел еще накинуть повсюду ледяное покрывало, но полыньи морщились от стужи и суживались. По берегам во все стороны тянулся бесконечный, хмурый, с зубчатыми вершинами, лес. Ветер завывал и свистел, под окнами одинокого жилого домика гудели протянутые от столба к столбу телеграфные провода, гудели, передавая людские думы, тревоги, заботы и редко чьи-либо радости. Над проводами нависли ветвистые лапы старых сосен. Сосны шумели мягко, не заглушая посвиста ветра и гула проводов. И этот мягкий, окутывающий все остальные звуки, сосновый шум навевал истому, убаюкивал. Никита отвернулся от окна и хотел заговорить с Мазаниковым, но тот храпел, уткнувшись лицом в столешницу. Никита поставил две скамьи рядом, ложась, сунул шапку под голову и, не думая о проверке запани, скоро заснул.

Разговор о жизненных путях не состоялся.

Где пешком, где на попутных лошадях Иван Тягунов добрался до полустанка Морженги; отсюда с товарным поездом на тормозной площадке доехал до станции Харовской. Оставалось еще верст тридцать-сорок до лесных заготовительных участков усть-кубинских лесопромышленников. На паровозе приехал в тот день на Харовскую агитатор из Вологды. На вокзале быстро собрали летучий митинг. Вскочив на стойку буфета, агитатор торжественно объявил:

— Товарищи! Временная власть свергнута. Вот уже третий день в Петрограде новое правительство — власть рабочих и крестьян, а во главе ее верный защитник интересов трудящихся — товарищ Ленин. Керенский бежал, переодетый в женское платье. Не то сидеть бы ему в Петропавловской крепости вместе с министрами-капиталистами. Теперь сам народ с большевистской партией и товарищем Лениным во главе будет решать все жизненные вопросы. Правительство рабочих и крестьян, правительство Советов приняло декрет о мире. Всем воюющим странам предложено прекратить войну. Хватит! В принятом декрете сказано: помещичьи, монастырские и удельные земли переходят в безвозмездное пользование трудящихся... Все недра земли — нефть, уголь, руда, а также леса и реки — всё теперь принадлежит народу... Фабрики и заводы также принадлежат революционному рабочему классу и его союзнику — трудящемуся крестьянству... — Агитатор зачитал несколько выдержек из советских декретов и продолжал: — Но, товарищи, Владимир Ильич Ленин предупреждает, да и обстоятельства складываются так, что борьба еще будет длительная и упорная, борьба за нашу родную рабоче-крестьянскую советскую власть, за ее и за наши цели. В этой борьбе мы победим...

— Как же теперь быть, кого мы над собой хозяином поставим? Не богачам же над нами властвовать!

— Какая должна быть власть на местах? Самим выбирать, что ли?

И оратор, руководствуясь первыми декретами советской власти и доверяясь своему внутреннему чутью, разрешал эти вопросы смело и просто:

— Создавайте Советы немедленно. Выбирайте представителей от бедноты, от рабочих-железнодорожников;

опирайтесь на солдат-фронтовиков, не пожелавших пролить свою кровь за Керенского и правительство капиталистов. Есть такие у вас солдаты?

— Есть! — отвечали из толпы, — почти в каждой деревне кто-нибудь да вернулся. Некоторые с оружием.

— Винтовочки еще пригодятся, — предупреждал оратор, — силой власть взяли в столицах, силой ее придется утверждать и удерживать на местах.

Ответив на вопросы, агитатор спрятал в потайной карман газеты и листовки с декретами и, застегивая пальто, заторопился к выходу: сегодня ему надо было выступить еще на трех крупных станциях — Вожеге, Коноше и Няндоме. Взыгнанная и ликующая толпа на руках вынесла оратора с вокзала. На улице его качали, подкидывая высоко над головами.

Тягунов словно помолодел. Радость наполнила его. Так вот когда исполнилось то, за что люди боролись, за что страдали в тюрьмах и ссылках!

«Уж не вернуться ли на завод, — подумал было Тягунов, но решил: — рабочие и без него знают, что делать. Управятся».

На вокзале он съел густо посоленный кусок ржаного хлеба, запил холодной водой и отправился на участки лесозаготовок. Время было за полдень. Серая морозная погода, легкий попутный ветерок, промерзлая, удобная для ходьбы земля.

Иван шел не спеша, осторожно шагая по скользкому, слегка запорошенному снегом проселку, шел и думал о том, что происходит сейчас в Петрограде, в других больших городах и на фронте. А в этой вологодской лесной глуши многие еще не скоро узнают о великих переменах в жизни.

В попутных деревеньках Тягунов, как представитель от рабочих лесопильного завода, устраивал сходки и рассказывал, что узнал на митинге о революции и первых декретах Советского правительства. Не глубоко были познания Ивана Тягунова. Но ему приходилось встречаться с большевиками в тюрьме, в кадниковской ссылке, и теперь, рассказывая о большевиках, он вспоминал Седого — борца, закаленного в неравных схватках с царизмом. А сколько их, таких самоотверженных борцов! Они — главный костяк революции — обрастают теперь тысячами, десятками тысяч рядовых людей, поддерживающих свое родное, кровное дело. Немного знал Тягунов и о Ленине, но сумел поведать

мужикам-лесовикам о великом человеке, выпестовавшем могучую партию, способную взять власть в свои руки.

— А как теперь быть с землей? — спрашивали мужики Тягунова.

— Очень просто! Под снегом землю делить вы не будете, а весной пашите, сколько можете. Но ни покупать, ни продавать землю нельзя. Земля будет в общем пользовании.

— Так же и лес?

— И лес. Дадут лесу всем и, само собой, в первую очередь — беднякам.

Исконные лесорубы в верхнекубинских деревнях спрашивали:

— А вот мы раньше рубили и сплавливали лес лесозаводчикам. Те покупали лесные участки у царского удела или у помещиков. Как же теперь? Будет ли нам в зимнюю пору в лесу заработок? Мы ведь не привыкли без дела. Да одной пахотой нам и не прокормиться. На Севере — лес кормилец...

— Будет работа, — уверенно отвечал им Тягунов. — Всё уладится, не обидит новая власть и лесорубов. Я так смекаю, что лесопильные заводы и без буржуазии будут на полном ходу. Точите топоры, приготавливайте пилы — хватит работы, всем хватит.

— А кто станет платить?

— Советская власть — она хозяйин.

В одной из деревень весть об Октябрьской революции опередила Ивана Тягунова. Около большого двухэтажного дома с мезонином и подвальным торговым заведением вооруженные ружьями и вилами мужики убеждали хозяина сдать без греха ключи от амбара и лавки и потесниться в доме, чтобы могли вселиться три семьи бедняков, живущих в ветхих избах.

Хозяин стоял на рундуке резного крыльца, тряс кулаками и кричал:

— Не пушу! Сто лет наше добро наживалось. Еще дед начал торговлю. Не пушу! Через труп мой перешагнете, тогда уж грабьте...

— Подумаешь — сто лет... Цари триста лет сидели, да слетели... Подавай ключи!

— Не дам! Через труп шагайте!..

— Что ж, и через труп можно. Власть теперь наша. Подумаешь, испугал! Федька, вдарь ему вилами в пузо...

Но мужик, названный Федькой, сжалился и три железных рожка наземных вил вонзил вместо брюха в ляжку строптивного и неподатливого кулака.

— Ага, сволочь! Боишься, Семен Иванович, щекотки! Хозяин грузно опустил на рундук, завопил:

— Убивают! Караул!.. — и швырнул в толпу связку ключей.

— Убить никогда не поздно, успеем... — сказал спокойно один из мужиков. — Ты сначала отчитайся — сколько с нашего брата за свою жизнь награл, а потом уж и отправляйся к своему деду.

Мужик, поднявший ключи, распорядился:

— Три семьи: вдова-солдатка Анна Егоровна Амосова, Петрован Бобылев с семьей, еще семья Кореевых, сегодня же занимайте нижний этаж в доме торговца.

Мужик, руководивший переворотом у себя в деревне, чтобы подтвердить свои распоряжения, добавил с достоинством:

— Навечно, и без всякой оплаты!.. А сейчас — айда за мной делить товаришко какой есть...

Как раз в это время подошел к толпе Тягунов. Остановясь посреди улицы, он молча наблюдал за мужиками, по-своему просто и быстро наводившими революционные порядки. Все мужики, женщины и ребята-подростки так были увлечены, что не заметили постороннего человека.

Из лавки деревенского торговца выкатывали на улицу бочки с соленой треской, выносили ящики гвоздей, войлок на подхомутники, сыромятную кожу, чугушки и задвижки, ухваты и кочерги, жмыхи и колобы, наконец, выкинули тысячу пар берестяных лаптей.

— Мерзавец, всю волость захотел вместо сапог в лапти обуть!..

— Жги, ребята, лапти! Без них обойдемся, — слышались гневные голоса.

— Нельзя в деревне, пожар может случиться.

— К чёрту лапти, пусть сам носит! Ломайте пол, нет ли чего под полом...

Вмиг полетели на улицу толстые доски-половицы. И верно — из-под пола мужики стали торопливо доставать мешки с мукой, кули с солью, валеную и кожаную обувь, охотничьи припасы, ситец, табак и даже иконы.

— Вишь, стервец, полное подполье всего насовал!..

— Выкачивай до последней пуговицы!..

— Всё! Пока хватит. А теперь давайте делить по сиропедливости.

Вокруг накиданного товара столпились все односельчане. Из окон кулацкого дома, из-за косяков и занавесок, выглядывали перепуганные домочадцы. Мужики стали разбирать и подсчитывать товар. Крестьянин с дробовиком за спиной, в коротком овчинном полушубке и подшитых валенках суетился в центре толпы с конторской книгой, перелистывая ее, и восторженно верещал:

— Вот где все должники переписаны. Здесь! Всем долги прощаю!.. Да здравствует конфискация, реквизиция и революция!..

Он вырывал из книги исписанные листки, комкал, рвал на клочки, разбрасывая по снегу:

— Квиты, Семен Иванович, квиты!..

Приступили к дележу.

Тягунов не выдержал, подошел к расшумевшимся мужикам, поздоровался, спросил:

— Никак, мужички, делить собрались?

— Успеваем, пока не поздно...

— А что, думаете — запоздаете?

— Не мы, так из других деревень понаедут, растащат.

А мы начнем, мы и кончим — мы и в ответе.

— Так, так... Только поступаете вы не совсем правильно.

— То есть? Кто ты такой?

— Я из рабочих-пильщиков, пробираюсь к местам лесозаготовок.

— Врешь, поди-ка! Какие теперь лесозаготовки!..

— Ну и ступай своей дорогой!..

— Нет, не «ступай»! — возразил Иван. — Так не делают, должен вас предупредить. У вас кооператив есть?

— Где он? На Пундуге, за пятнадцать верст!

— А вы всё это опишите, оцените, да в кооператив и сдайте. Не беспокойтесь, от народа это никуда не уйдет.

— Вот еще, кто-то будет в Пундугу треску и лапти возить!

— Зачем возить! А вы попробуйте, чтоб здесь, на месте этой лавки, устроить вам свой кооператив, — посоветовал Иван.

— Вот еще, кооператив! Сперва надо свою власть выбрать.

— Верно! — согласился Тягунов, вспомнив слова агит-

татора, выступавшего на станции Харовской. — Выбирайте власть! И мужики, и бабы — все голосуйте.

— Так и будем — за тех, кто нам давно люб да дорог, а паразитов подальше!.. — опять бушевал крестьянин с дробовиком.

— Вот так и полагается, а кулацкое добро опишите, пойдет на пользу трудовому народу.

— Правильно! Согласны!..

— Беззакония не должно быть, награбленное не грех и отнять, но чтобы всё по списку, без утечки и утайки.

— Правильно товарищ говорит. Описывай!..

Словом, недолго пришлось Тягунову уговаривать мужиков. Они не то струхнули, не то одумались, но поступили так, как он им посоветовал. Из всех товаров только табак разделили между курильщиками, да и то будто бы за работу: пол сломали, взад-вперед товар таскали, опись провели — кто же им запретит за это табачком попользоваться?..

Ночью после продолжительного шума в деревне выбрали своего представителя — делегата в волостной исполком. Федька, орудовавший вилами, был избран единогласно.

Заночевав в деревне, Иван наутро отправился в одну из лесных контор, ведавших когда-то лесозаготовками для усть-кубинских и сухонских заводов. Крепкий и свежий морозец пощипывал лицо, но дышалось легко, вольготно. Иван просекой углубился в лесную чашу. По рассказам мужиков, он приблизительно знал, где находится первая контора, и не боялся сбиться с пути. Стояла морозная тишь, изредка нарушаемая взлетом куропаток и рябчиков. Нынче по первопутку след сюда не был проложен. Тягунов шел и дивился. Октябрь кончался. Заморозки — что надо, рубить бы лес да возить. А всё будто вымерло. Видать, хозяева-лесопромышленники не о лесе в этом году помышляли...

Скоро увидел Иван в лесу крепкую бревенчатую избу, углы смолены, на крыше две кирпичные трубы.

«Контора», — догадался он и свернул с просеки к избе. Единственный сторож старик, подставив к стене стремянку и держа в зубах запасные гвозди, короткими досками набивал окна опустевшей лесной конторы. Заметив подошедшего, сторож спустился с лесенки. Гвозди переложил в карман.

— Чей, да отколь, да куда путь держишь?

Иван рассказал — кем и зачем сюда послан.

— Ну, миленькой! — протяжно произнес удивленный сторож. — И зачем тебе было идти в такую даль? В здешней конторе я один лето леговал. Ни десятников, ни приемщиков, ни лесорубов — ни одной души! Вот забью окна, да тоже в деревню подамся. Там у меня, слава богу, хозяйство не нарушено. Старуха и две дочери хлебушко собирали, рыжиков, ягод напосили — зиму как-нибудь проживем.

— А есть тут еще поблизости лесозаготовительные конторы? — спросил старика Иван.

— Как же, миленькой, две есть. Обе в той стороне, — старик махнул рукой на север, — одна за пять верст, другая за десять... Только народу никого там нет. Лесов — тьма-тьмущая, а рубить некому. Ныне хозяева будто уговорились — запустение делу устроили.

— Это временно, дедушка. Лес заготавливать и нынче будут.

— Ныне, миленькой, всё временное, власть — и та временной называется.

Иван рассказал старику, что власть теперь другая, не временная, а надежная, — своя, рабоче-крестьянская.

— Поживем — увидим, — равнодушно отозвался старик и стал забивать досками окна конторы.

— Скоро, дедушка, увидишь и почувствуешь. Война кончится, земля — крестьянам, паши, сколько хочешь. Всё народное.

— Дай-то бог, если на правду похоже.

— Правда, дедушка, самая настоящая правда...

— Ну, тогда заживем!...

В верхискубинских лесосеках делать Ивану было нечего. Он прошел несколько верст по лесным массивам: прав старик — всюду была невозмутимая лесная тишина.

На обратном пути Тягунов не спешил домой. Он обходил деревни и на всякий случай, для отчета завкому, составлял списки людей, пожелавших в зимнюю пору выйти на лесозаготовки.

V

Через неделю, в воскресенье, Иван возвратился на завод. На конторе — красный флаг, на заводской трубе — тоже. На вывеске вместо «Оскар Стювени» — два новых

слова: «Красный экспортер». Под вывеской растянуто красное полотнище: «Да здравствуют Советы!».

«Всё это Толчельников провернул», — подумал Тягунов.

Ефросинья сидела за столом и строчила крепкое домо-тканное полотно, шила мужу белье. Из-за стрекота машины она не расслышала, как без скрипа отворилась дверь и вошел Иван.

Молча постояв у дверей, Иван шутиливо заговорил:

— Из-за этого самого «Зингера» родного мужа замечать перестала — строчит и строчит... Да хоть бы обернулась. Кто я тебе, а?..

— Иванушко! — радостно всплеснула руками Ефросинья, — как скоро вернулся! Ой, что тут без тебя было! Из города приезжали, собрание за собранием четыре дня подряд. Управляющий на двух лошадях на станцию уехал — не то в Москву, не то в Архангельск — совсем. За главного теперь Толчельников. Городские его назначили. Управится ли?

— Управится! А завком на что? Поможем...

— Еще в коммунисты тут стали записывать, — выкладывала все новости Ефросинья. — Записываются, кто побойчей. Ты хоть не торопись соваться в коммунисты. Побойжди, кто знает!.. Говорят и эта власть только на три месяца...

— Глупая ты, вот что... — беззлобно ответил Иван, — придется и тебя записать, чтоб поумнела малость.

— Баб туда пока не пишут, — резонно заметила Ефросинья и под комариные напевы согреваемого самовара продолжала:

— Был тут из Катромы Василий Румянцев, приезжал к тебе насчет новой власти порасспросить: как, да что, да надолго ли... Я сказала — ты вернешься через три недели. Ну, посидел, посидел, съел чугунок картошки и уехал. Больно наша машина ему полюбилась. В первом слове сказал: «Берите за «Зингера» пять пудов ржи». Я говорю: «Нипочем». А он говорит: «Голодок прижмет, так и за пудик отдадите». А я говорю: «Нипочем». Набрал он в правление газет и вычитал, будто власть эта на три месяца.

— Ничего не знает, дуралей. Ведь когда-то казаки его пороли, а не поумнел. Катрома вислоухая!.. Ему ли пророчить: всю жизнь — ни туды, ни сюды. На святых житиях

замешан... Наша власть в самых надежных руках — не вышибешь!..

Садясь за стол, спросил:

— Петька в училище?

— Какое училище, сегодня воскресенье... С утра на коньках с ребяташками носится. Непослушный. Всё сердце из-за него изболело. Намедни один парнишка со стекольного завода под лед провалился, утонул. Так сердце и захолонуло: не наш ли сорванец.

Петька вернулся в сумерки, промокший, с синяком на лбу.

— Ты что — рыбу глушил башкой-то? — не то строго, не то ласково спросил отец.

— Стегнулся немножко. Ничего, заживет. А мама говорила — ты не вернешься долго.

Глядя на сына, Иван ощутил прилив радости. Петьке скоро четырнадцать. Кончит шестиклассное; это очень много. Такое образование для деревенских ребят необычно. Петьке повезло потому, что у отца и матери он только один, и потому, что отец переехал на завод, откуда бегать в сельское училище не так далеко. Сейчас Петька наскоро выпил три чашки самодельного, из вяленой репы, чаю и разложил на столе тетради и учебники. Нахмурился, сосредоточился над книгой. Решив какую-то задачу, заговорил с отцом:

— Тятя, а у нас в училище говорят, что на закон божий, на церковно-славянский язык и на молитвы мы только зря время тратили. Говорят, большевики это всё отменят и на экзаменах с нас не спросится.

— Вполне возможно, — ответил отец. — Раз говорят, значит откуда-то знают. Я ещё до войны и до революции в тюрьме разговоры слышал об отделении церкви от государства. Старые подпольщики рассуждали.

— Господи, — вздохнула Ефросинья, снова садясь за машину. — Царя сшибли, Керенского сшибли, а бога-то за чем трогать?

— Как-нибудь без него обойдемся.

— Ну, Иван, что хочешь, а иконам место всегда в углу.

— Углы и в чулане есть, — усмехнулся Иван.

— Не выдумывай.

Иван давным-давно перестал веровать в бога, богородицу и святых. Как-то еще в Катроме, на пасху, заменяя старые иконы, купил он у книгоноши дешевенькие картин-

ки, по его мнению, вполне безобидных и заслуженных святых: Кирилла и Мефодия, научивших славян грамоте; равноапостольного князя Владимира, принявшего такую веру, которая не возбуждает пить водку, и еще картинку с ликом Александра Невского, к памяти которого был неравнодушен Петр Первый, не особенно жаловавший других святых. Лик воинственного Александра, облаченного в красный плащ и железные латы, Тягунову казался наиболее подходящим для почитания. «Вон еще в какие времена этот князь немцев хлестал в хвост и в гриву...».

— Ладно, эти пусть повисят, — снисходительно ответил Иван.

VI

Летом на севере Советской России развернулись события, заставившие многих встать под ружье.

В Мурманске и Архангельске высадились американские и английские войска. За ними прибыли французы и захватчики из других стран, объединившиеся по зову Черчилля против молодой, неокрепшей Страны Советов. Незваных и непрошенных «гостей» поддерживали меньшевики и эсеры, кулачество и царское офицерство. Начав с грабежей и расстрелов, интервенты с белогвардейцами немедленно двинулись из Архангельска по двум направлениям: по Северной железной дороге на Вологду и по Северной Двине на Котлас...

На одном из этих путей в двинском селе проживали пережившие с германской войны наши старые знакомые — лесовики Степан Кошкин и Семен Глухарев. В довоенные годы, в зимнюю пору они обычно работали в лесу, весной и летом на сплаве, иногда ходили водоливами на барках. Северные отхожие промыслы, потом война втянули двух приятелей в круговорот жизни и, прожив по три десятка лет, они даже не успели жениться, не сумели окружить себя ребятнишками.

И вот что произошло на Северной Двине, в родных местах Степана Кошкина и Семена Глухарева.

Гул старинного медного колокола разнесся однажды далеко по окрестности. В это раннее утро крестьяне из двинских деревень работали за Двиной на Осиповском лугу. Здесь они корчевали пни, драли сохами целину, а кое-кто подбираал сухостойник и стаскивал в кучи, запасая топливо к зиме. Один из мужиков, как только раздался набат, бы-

стро взлез на высокую ель. С вершины дерева он оповестил соседей:

— Не пугайтесь, мужики. Село — как на ладони, а ни дыма, ни огня.

— Ну, слава те господи, а мы-то думали — пожар.

Крестьяне снова принялись корчевать обгорелые лысые пни и пахать подсеку, не обращая внимания на колокольный звон. Но звон не прекращался. И тогда мужики, оставив на работе одних баб и девок, тронулись с подсек и гарей гурьбой к себе в село. Колокольный звон не унимался, поторапливая и без того спешивших мужиков.

Длинное, в два посада, село растянулось на взгорье между темнеющим вдали лесом и привольной многоводной Северной Двиной. Прямая улица суха и пустынна, вперемежку старые и новые домики — без палисадников, без единого деревца. На пригорке бедная, неприглядная церковь. Рядом с церковной оградой и пристройками — кулацкий дом, двухэтажный, с балконом и мезонином. На углу прибита дощечка с надписью: «Сей дом Хлюстова Сергея Владимовича построен в 1880 году». Неподалеку от кулацкой хоромины и церкви, на лужайке собрались мужики. К ним набежала босая детвора в выцветших кропаных и рваных рубашонках. Ребятишки резвились, скакали с бугра на дорогу, кричали нараспев:

Тили-тили бом,
Загорелся кошкин дом...

Но вот с задворья, из поповского домика торопливо направился к месту сборища недавно разжалованный чиновник уездного ведомства Николай Вячеславич Гантимуров. После того как сго сняли с должности кадниковского исправника, он оказался в Архангельской губернии, где и служил до Октябрьской революции на разных должностях. Пробираясь мимо собравшихся мужиков, Гантимуров, волнуясь, отрывисто говорил:

— Граждане, спокойствие духа! Ничего страшного не случилось. Всё замечательно, всё прекрасно!.. Свобода, братство, равенство! Приказываю не расходиться, всем быть здесь... Экстренное собрание!..

Гантимуров скрылся в хлюстовском доме.

— И что за собрание в такую пору? — ворчали мужики.

— Лучше бы вечером, после работы. Лето наше короткое, каждый день дороже денег.

Через несколько минут Гантимуров, вспотевший, без фуражки, показался на балконе. За ним, застегивая на ходу жилет, вышел Хлюстов. Пошептался о чем-то с Гантимуровым и, облокотившись на резные перила, обратился к народу:

— Уважаемые соседи! Православные христиане! Труженики честные!.. Время сейчас горячее; я слышу ваш ропот и прошу прежде всего спокойствия. Я сам, как и вы, — труженик-крестьянин и дорожу каждым часом. Но дело такое важное, что без тревожного набата не обошлось.

Из толпы послышался нетерпеливый голос Степана Кошкина:

— Эй, ты!.. Довольно петь, говори прямо — чего замышляете?

Хлюстов, пропустив мимо ушей его выкрик, сказал, что с мужиками будет говорить Гантимуров. Бывший исправник пощипал густые поседевшие усы и возвестил:

— Чрезвычайная новость! Архангельск заняли американцы и англичане! Большевистской власти в нашей губернии пришел конец... Через два-три дня наши союзники будут в Вологде.

Толпа заколыхалась. Послышались тревожные голоса:

— Что же будет теперь? Ведь Архангельск от нас рукой подать.

Гантимуров прислушался, стараясь уловить настроение толпы и взять правильный тон. Но тут на штабель бревен быстро поднялся Кошкин и, взмахнув здоровенным кулаком, как гвозди в стену, начал вбивать крепкие, смелые слова:

— Товарищи! Мужики!.. Американцы и англичане идут сюда, а вы спрашиваете — что нам делать? Берите ружья, да ступайте в лес... Не робейте, мужики, Красная Армия придет и выручит!.. Советская власть — наша власть. Мы ее должны защищать до последней капли крови!.. А этих гадов, — он кивнул на балкон, — в расход!..

Гантимуров вспыхнул. Горячась, он стал призывать население не поддерживать вернувшихся с фронта одиночек-большевиков, а стать на сторону социалистов-революционеров, ибо их партия идет рука об руку с богатыми и сильными союзниками, занявшими Архангельск.

Пока Гантимуров произносил длинную и путаную

речь, Степан Кошкин успел обежать село и собрать товарищей, вернувшихся с фронта.

Когда они, злые и встревоженные, подошли к толпе, собравшейся у кулацкого дома, Гантимуров заканчивал свою речь:

— Нам известно, — говорил он, — что многие из архангельских большевиков спасаются бегством... Есть указание свыше: по всем деревням и селам двинского побережья задерживать всех отступающих на Котлас...

Речь Гантимурова заглохла в выкриках:

— Заваривается каша, а кто будет расхлебывать?..

— Англичане, американцы — какого им чёрта надо?

— Большевики им не по нутру!..

На балконе Гантимуров и Хлюстов, передавая друг другу бинокль, смотрели на перелесок, на двинское плесо и улыбались.

— Четыре парохода! — громко, чтобы все слышали, проговорил Гантимуров и, передавая бинокль Хлюстову, добавил: — Жаль, что мы вот с этой нашей публикой не сможем беглецов задержать.

— А вы думаете — это беженцы-большевики?

— Они самые, Сергей Вадимович, они!.. Утекают!..

— Значит, всю Двину без боя уступают союзникам?

— Ну да, я же говорил вам, — потирая руки, подтвердил Гантимуров. — Вот как дела-то обернулись, Сергей Вадимович!

В руках Гантимурова появилась газета, он развернул ее, смял и, обратясь к притихшей толпе, заговорил смелее:

— Итак, Архангельск без большевиков!.. Там наши союзники. В Вологде Советы держатся на волоске. На Волге восстания. Сибирь под Колчаком. Кронштадтские пушки держат под угрозой Петроград. А Кавказ?! А Украина?! Боже мой, что везде творится!..

Хмурый, задумчивый Кошкин отошел от толпы, поднялся на бугорок и, заслонив козырьком фуражки глаза, взглянул в сторону Архангельска, куда уходила мощная, ярко сверкающая Северная Двина.

— Да, товарищи, действительно — четыре парохода!..

— Ну как, Стена не екает сердечко?.. Наверно сейчас вспомнил про шенкурскую расправу, а?.. — спросил не без ехидства Хлюстов, желая припугнуть Кошкина. Несколько дней назад Степан вернулся к себе в село из уездного города Шенкурска, куда с отрядом Павлина Виноградова

ездил подавлять эсеровское восстание. Архангельск захватили интервенты. И если он попадет в их руки, ему несдобровать. Он это отлично понимал. Но не растерялся Степан Кошкин и презрительно ответил кулаку:

— А не рано ли тебе меня допрашивать? Да, я участвовал в подавлении кулацкого восстания и этим горжусь!..

— Словатишься, да поздно.

— Посмотрим — кто еще словатится!..

Толпа понемногу начала расходиться!..

— Ну и денек выдался! — сказал кто-то. — У меня ночью кобыла со двора сбежала, так и знал, что не к добру!..

Другой голос невпопад первому:

— Пойти разве, на всякий случай, у телеги колёса смазать; может, уезжать, как цыгану, придется — куда глаза глядят!..

— Уж если англичане да с американцами, — держись, мужики!..

Около Кошкина столпилось десятка два фронтовиков. Отошли в сторону заговорили тихо:

— Да, товарищи, есть над чем призадуматься, — начал Степан, внимательно всматриваясь в растерянные и возбужденные лица соседей. — Надо обдумать, что делать, пока кое-кого из нас не повесили вот на этой березе. Придется крепко постоять за свою власть!..

Улица притихла. Ребятишки — и те, чуя недоброе, присмирели, собрались кучей, не зная, то ли дома сидеть, поближе к отцам и матерям, то ли бежать через ложбину на берег Двины, к пристани, посмотреть на проходящие пароходы с беженцами!..

Окруженный тесным кольцом молчаливых, суровых соседей, Кошкин продолжал:

— Надо уходить в леса. Будем партизанить, пока не подойдет Красная Армия. Поможет ей бить гадов. Ступайте по домам, берите охотничьи ружья, а кто привез с фронта винтовки — берите их!.. Гантимурова слушать нечего!

— Знаем его, собаку! — злобно проговорил один из мужиков. Другой сплюнул и возмущенно сказал:

— Сказывают, когда в Кадникове исправником был, насмерть мужиков порол!.. Прикончить на месте гада!..

— Успеем. Настанет и для таких черед.

— Ужели война у нас будет? Или поговорят — да тем дело и кончится?

Степан бросил скомканный окурок и, посмотрев вокруг, заговорил:

— Как бывший фронтовик, могу сказать, что наше село навверняка будет на самом боевом положении. Здесь, на Двине, крупная пристань — раз, — Степан загнул палец, — тракт зимником на Шенкурск, на Котлас и на Архангельск — два. А посмотрите на местность: будь я командиром, я бы вон там, в устье рски Ваги, поставил батарею, чтобы не пускать противника вверх по Двине и по Ваге. А вон там, за бугром, в лесочке, спрятал бы эскадрон конницы. За больницей, на бору, расположил бы штаб; на пути к Котласу — окопы и проволочные заграждения; в лес направил бы партизан, и куда бы враг ни сунулся — всюду ему отпор.

— А может, не стоит уходить из родных мест? — возразил кто-то из парней.

— Глуно! — резко оборвал Степан. — Попробуй остаться здесь, что получится? Не знаете? Интервенты и бело-гвардейцы захватят всё незащищенное двинское побережье. А дальше что? Под страхом смертной казни нам предложат сдать всякое оружие и объявят мобилизацию в белую армию. И заставят стрелять в тех, кто на стороне советской власти, в наших земляков вологжан, устюжан, в петроградских рабочих. Кому из вас это нужно? Есть желающие остаться на стороне вражеской силы? Нет? То-то!

— Да, задача, — вздохнул один из соседей, — выход один: организовать в отряд, перейти в лес за Вагу-реку и подождать прихода Красной Армии.

— То есть сбсречь себя, сбсречь силы для борьбы за наш родной советский Север, — добавил Степан Кошкин, довольный тем, что убедил соседей.

Неожиданно в конце села взвизгнула гармошка. Это возвращался откуда-то Семен Глухарев — приятель Кошкина. Степан зло выругался:

— Забудыга!.. И откуда он хмельное достает!?

Подойдя к мужикам, Глухарев шутливо произнес:

— Именем закона приветствую дорогих соседей и прошу всеобщего внимания и извинения. За неимением водки пил что попало. Смешал одеколон с политурой и молоком, и чувствую страшное шумление в голове, и еще раз прошу прощения, свободные граждане!..

— Дурак! — Степан сдвинул густые брови. — Поди, умойся или, еще лучше, — выкупайся!..

Поставив гармонь на землю, Глухарев сел на луговину возле мужиков. Часто моргая, он думал, что односельчане для того и сошлись, чтобы осудить его за разгульную жизнь. Но как ни прислушивался — о нем не было речи. А о чем говорили, понять никак не мог. Он даже обиделся, что на него не обращают внимания.

— Драться будем, скорей бы Красная Армия подошла! — поймал Глухарев чьи-то слова и насторожился.

— Кроме оружия, товарищи, прихватите белья по паре, хлеба-сухарей дней на десяток, и пойдем в лес, что поближе к Архангельскому тракту...

— Очнись, чучело! — услышал Глухарев и понял, что обращаются к нему: — Слышь, Архангельск англичане и американцы захватили. Сюда двигаются.

— Что-о? — Хмель сразу вылетел из Сенькиной головы.

Все стали торопливо расходиться по своим избам.

Степан взял Сеньку за плечо:

— Говорят, у тебя наган есть и зря заряды портишь?

— Есть, с румынского фронта привез.

— Ну-ка, тащи его сюда.

— А ты что, не доверляешь? — Глухарев завернул рубаху и, отодвигаясь от Степана, показал черную, торчащую за гашником штанов, рукоятку револьвера.

— Дай-ка его сюда.

Глухарев пехотя подал наган. Заглянув в гнезда барабана и убедившись, что револьвер заряжен, Кошкин положил его в потайной карман пиджака.

— Мне он сейчас очень нужен. Не беспокойся, возвращу.

— Зачем он тебе?

— Пойду, у Гантимурова винтовку конфискую...

Скоро с разных концов села потянулись к избе Кошкина вооруженные парни и мужики. Шинели, фуфайки, брезентовые плащи — всё на них сливалось в один серый цвет. Их провожали испуганные ребятишки, взволнованные матери, сёстры и жены, хмурые бородатые старики.

— Что головы повесили?.. — сказал, подойдя к собравшимся, Кошкин, успевший вооружиться гантимуровской винтовкой.

— Не на свадьбу идем, — отозвался кто-то густым басом, — вот и невесело. Да в Архангельске-то, слышь, что творится...

Степан подал в голпу бархатный кисет. Обойдя всех, опустошенный кисет вернулся к хозяину.

— Ну и народ... хоть бы на цыгарку оставили!

— А мы думаем, у тебя еще есть.

— Эх, закурить, чтобы дома не тужили!

Провожавшие стали полукругом, печально глядя на родных, уходивших неведомо куда и надолго ли.

Старушка Алена, мать Степана Кошкина, подошла к сыну, сунула ему горячих шанежек.

— На, съешь хоть, подкрепишься на дорогу... Ступай, сынок, счастливо, да береги себя.

Он взял из рук матери пышащие жаром ячневые шаньги, сел на бревно:

— Посидим, ребята, чуточку. Такая примета есть: с места тронемся, — счастливый путь будет.

Товарищи молча разместились на бревнах. Кто-то перевязывал мешок; кто-то половчей переобувался, подкладывая в сапог горсть травы вместо стельки; кто-то успокаивал плакавшую жену, а та говорила сквозь слёзы:

— Скоро хлеб убирать, молотить, а ты уходишь...

— Ничего не поделаешь... С хозяйством управишься без меня.

Наконец Кошкин поднялся с места. За ним разом встали односельчане.

— До свиданья, жёнки! Счастливо вам здесь оставаться!

— Попутный вам ветер, наши родненькие!.. Будете близко — навещайте! Мы хлебом-солью всегда пособим.

— Спели бы нам что-либо приятное на дорогу!

— Алена пусть запеваёт, она горазда, — предложили соседки и оживились.

— Ну, прощайте!.. Мама, затяни прощальную, — попросил Степан Кошкин и крепко поцеловал мать.

Развязав платок у подбородка, скрестив руки на груди, мастерица пропевать сказания и причеты, Алена выпрямилась и запела по старинному северному обычаю протяжно:

Вы прощайте-ка, добры молодцы,
Да разудалье головушки.
Вы с германской войны воротились,
Да снова в путь боевой снарядились.

И чем дальше песня, тем звонче становился голос Алены.

Сначала соседки прислушивались, потом подхватили, повторяя припев:

Наше сердце бабье-женское
Да почуяло про невзгодушку,
Как из-за морюшка, моря Белого,
Да корабли идут с англичанами,
Идут с пушками смертобойными,
Да на Рассеюшку нашу Советскую!
Тучей черной на нас надвигаются...

Песня разнеслась по селу, как гимн надежды на одоление заморских врагов, вторгнувшихся в русские северные земли:

Идут насильники, злоден окаянные.
Да вы, молодцы, не щадите их.
Стреляйте их пулей меткою,
Да рубите их саблей вострою.
Мы спроводим вас, наши милые,
Да за поля ржаные, колосистые,
За луга за двинские зеленые,
Да за три реченьки за глубокие,
Во леса-то во северные дремучие,
Да против злого заморского врага.
Расставайтесь-ка, добры молодцы,
С нами в добрый час, не надолечко...

По Двине прокатился гул орудийного выстрела. Снаряд с английской канонерки пронесся над плесом реки, над полесьем и с треском разорвался где-то за овинами.

VII

Эсеры и меньшевики, купечество и белое офицерство хлебом-солью и приветственными адресами встретили иноземцев, вступивших на северную русскую землю. В старинном архангельском соборе, расписанном фресками, день и ночь горели свечи, теплились лампы, сияли паникадила. Епископ с духовенством служил благодарственные молебны, моля бога даровать победу белому воинству и союзникам. В купеческих домах и в клубах устраивались банкеты.

Гостеприимные встречи в Архангельске, парады, колокольный звон, банкеты, — всё это на первых порах произвело на англичан и американцев отрадное впечатление. Интервенты рассчитывали маршем прогуляться до Петрограда, до Москвы и попутно поохотиться на северную дичь.

Среди американских и английских офицеров было немало охотников, побывавших в джунглях Индии. Многие из них слышали о сказочном русском Севере, где будто бы охотники стреляют не целясь, а потом идут в направлении выстрелов и охотками собирают дичь. Но оказалось, что на советском Севере охота не легка, а до Москвы — не добраться.

Наступила суровая, непролазно грязная осень. Такой осени интервенты, кроме как в Архангельске, нигде еще не видели. С Ледовитого океана и Белого моря дули ветры, сбивавшие с ног. Мокрый снег, не переставая, валит на чахлую тундру. Однако английские и американские захватчики недолго предавались созерцанию суровой природы, увеселениям и праздности. Началось состязание в грабеже: войны Уинстона Черчилля и Вудро Вильсона в ограблении русского Севера проявили наивысшее усердие. В Англию из Архангельска пошли суда с лесом, пенькой, смолой и пушниной. За английскими судами сразу же двинулись пароходы американских захватчиков. В это же время, без промедления, развернула бешеную деятельность союзная контрразведка. Тюрьмы захлебнулись арестованными. За городом, на мхах, в тундре, расстреливали революционно настроенных рабочих и сторонников советской власти.

В двинском селе хозяйничали интервенты и белогвардейцы. Штаб одного из белогвардейских отрядов разместился в доме Хлюстова. Осторожный и предусмотрительный белогвардейский полковник Чубаш приказал саперной роте сделать дом неуязвимым для ружейного и пулеметного огня: вокруг возвели укрепления из песка и булыжника.

Раннее утро. Мрачное, серое небо. Сеет мелкий дождь. Подслеповатые сумрачные избы, сплошь занятые постояльцами-солдатами, выглядят словно нежилые. Село спит. Кое-где в переулках, около походных кухонь и повозок, расхаживают одинокие солдаты в английских брезентовых плащах с капюшонами. На окраинах села в сырых блиндажах дежурят часовые из караульной роты. Войска интервентов расположились на мониторах и канонерках.

В штабе отряда полковника Чубаша тишина. Двое часовых — снаружи, дежурный — внутри. В одной из комнат, на диване, по-собачьи подняв рыльце кверху, стоит перед окном пулемет. Возле него, с винчестером на коленях, дежурит солдат-белогвардеец.

В соседней комнате — кабинет полковника Чубаша. На столе — полевой телесфон, белогвардейские газеты; зеленое сукно свисает до полу. На полосатых обоях — карта Северного края с белыми и красными флажками. На стене, в черных рамах, портреты временных управителей: английского генерала Пуля и министра-социалиста, седобородого предателя Чайковского...

Щеголеватый, прилизанный делопроизводитель первым явился в штаб и сел за стол к пишущей машинке. В коридоре за дверью слышались тяжелые шаги. Дверь широко распахнулась. Вошел Хлюстов, недавно произведенный в должность полкового писаря, за ним адъютант Чубаша. На них новенькое английское обмундирование, на ногах изящные краги.

Отранортовав адъютанту, дежурный вышел. Откуда-то приехал нарочный с большой кожаной сумкой, набитой солдатскими письмами. Адъютант Чубаша свалил письма на стол перед Хлюстовым. Грязные, серые и желтые конверты, зашитые нитками, заклеенные тестом, расплозились по столу. Хлюстову уже изрядно надоела эта нудная работа — разбираться в чужих почерках. Он сгрэб в кучу всю корреспонденцию и, недовольно покачав головой, сказал адъютанту:

— Опять, Борис Аркадьевич, наверно, из окопов пишут: «вши заели, война наскучила», а из дому: «хлеба нет, мякину едим, да голодом сидим...».

Пробегая глазами и откладывая на край стола проверенные солдатские письма, Хлюстов ворчал:

— И в самом деле, жалобы, жалобы без конца!..

— Это естественно: война есть война, — дымя сигаретой, равнодушно отвечал адъютант.

— Вот, Борис Аркадьевич, полюбуйтесь, что пишут из Мезени родители своему сыну.

Хлюстов подал исписанный неуклюжим почерком лист серенькой шероховатой бумаги.

Адъютант стал читать:

— «Милый и дорогой сын наш, Михайло свет Петрович, пишут тебе с дому родители. Пишем мы тебе, дорогой сын наш, и не понимаем, за кого ты воюешь, за что проливаешь кровь свою. Здесь всю бедноту начальство по миру пустило, обирают до последней нитки, скот и сбрую и всё домашнее. А многих упекли на остров Мудьюг и в Архангельск в тюрьму. Американцы и англичане ивесть за

что арестовали семерых в нашей деревне: Гаврю Ляпунова, Николку Филипа, Ваську Большого, про остальных и писать не будем, чтобы не бередить твое солдатское сердце, потому как тех, по слухам, за городом палачи убили.. Слезы и стон стоят по деревням... Будь сто раз проклята эта, как ее зовут, истервенция, ни дна бы ей, ни покрывки... Когда же кончится эта напасть? Если будет случай, не стесняйся, сынок, беги на сторону красных, тогда мы будем спокойны. Бог даст — увидимся. Скорей бы уж конец нашему мучению...» — Дочитав до конца, адъютант порвал письмо и бросил под стол. — Это же большевистская агитация!

— Безусловно, — согласился Хлюстов.

— Такая корреспонденция может действовать на солдат разлагающе!..

— Еще как! Вы напрасно порвали эту писульку, такими письмами союзная контрразведка очень интересуется, — и Хлюстов, согнувшись, полез под стол собирать обрывки письма.

VIII

Как-то летним вечером восемнадцатого года Иван Петрович Тягунов сидел у себя дома и, улучив свободную минутку, читал и перечитывал, подчеркивая строки, брошюру, состоявшую из вопросов и ответов. Брошюра была серенькая, без обложки и заглавия. Но в ней было много полезных сведений по вопросам классовой борьбы, истории и программы партии большевиков.

Ефросинья не раз пыталась заговорить с мужем, но он, уткнувшись в книжку, отмахивался:

— Да перестань ты... не мешай... Из Кадникова инструктор приехал и по этой книжке будет всех коммунистов завтра спрашивать.

Закрыв брошюру и придерживая пальцем место, на котором закончил чтение, Иван уставился глазами в потолок и, напрягая память, твердил:

— «Классы — это такие группы людей, из которых одна может присваивать труд другой, благодаря... благодаря... — Иван снова раскрыл брошюру и, потирая ладонью потный лоб, продолжал читать вслух и вникать в прочитанное: — благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства...».

Петька, без особого труда, сдавший весной этого года

экзамены, читал политические книжки, опережая отца, и задавал ему такие вопросы, что Иван морщился и отвечал:

— Ладно, не торопись, вот подучусь, тогда ты меня не загоняешь.

— Нет, ты сейчас скажи — что такое ультраимпериализм?

— Иди к чёрту, сынок!.. Ты навывдумываешь...

— Словарь надо раздобыть, — подсказывал Петька, — тогда будет ясно. Там все слова из политики есть.

Вечером отца вызвали на собрание волостной партийной организации. Вернулся поздно. Ефросинья и Петька спали. До утра решил их не беспокоить, а утром Иван сказал:

— Ну, голубушка, у нас не семеро на лавке, не восьмеро под лавкой... Хозяйничай тут с Петькой, а я вчера на собрании записался добровольцем в Красную Армию.

— В армию? — испуганно спросила жена.

— Да, в армию.

— Какой из тебя вояка? На действительную тебя не брали, в германскую войну не брали... Куда ты пойдешь! Что ты там делать будешь?!

— Не беспокойся, знаю, которым концом ружье к себе повернуть. Приготовляй-ка две пары бельишка, и чтобы все дыры закропаны были и пуговицы пришиты, портянки и всё такое прочее...

— Когда же в путь-дорогу?

— Сегодня отправка. Нас двадцать человек. Сначала в уезд. Подучат малость — и на север. Там американцы и англичане напирают, да разные контры голову подняли.

— Ну, что ж... счастливо, Иван! Береги себя да жив-здоров возвращайся, — всхлипнула Ефросинья.

Петька, провожая отца в армию, завидовал ему. Великое дело — отец идет бить белых генералов. И прискорбно было Петьке — зачем ему так мало лет.

... На первых порах в уездном городе Ивана обучали ружейным приемам и рытью окопов; однажды только водили за город на стрельбище. Пять пуль из трехлинейки всадили Иван в мишень без промаха. Больше ему патронов не дали. Так скоро закончился краткий курс военного обучения красного пехотинца Тягунова.

Воевать отправили не сразу. Кто-то из начальства приметил, что Тягунов толково планирует траншеи и умело

окапывается. В комиссариате ему приказали взять в свое распоряжение двести буржуев, мобилизованных на принудительные работы; выдали саперную инструкцию, топоры, лопаты, заступы; выдали харчи и отправили с таким отрядом в Вятку. Из Вятки — в Котлас. Из Котласа они успели до заморозков, на последних пароходах добраться до среднего течения Северной Двины, где Тягунову было указано, около каких деревень рыть траншеи. В воинской части выделили ему в помощь трех конвоиров из саперной команды.

Так, неожиданно для себя, одевшись в попошенный френч, сшитый из старой шинели, вооружась старым, вышедшим из моды карабином, стал Иван Тягунов начальником большой группы людей. Люди эти разных возрастов — от восемнадцати до пятидесяти лет — физически были крепки, лопаты и заступы не валялись у них из рук. Под надзором вооруженных саперов и самого Тягунова они вынуждены были работать так, как им никогда не приходилось.

Линии свежерытых окопов тянулись вокруг узловых населенных пунктов; строились пулеметные гнёзда, блиндажи, ходы сообщения и другие сооружения, необходимые в боевой обстановке. Всё это должно было храниться в строгой тайне, чтобы противник не знал о дополнительных рубежах обороны.

Однажды, наблюдая за работой своей группы, Иван Петрович заметил, что двое кадниковских торговцев слишком часто присаживаются отдыхать и о чем-то тихонько совещаются. Он несколько раз подходил к ним, и тогда они усердно принимались за работу. Но стоило Тягунову отойти подальше, как они уже снова отдыхали, сберегая силы. И Тягунов подумал: «Уж не к белым ли поровят перебежать?..».

Рабочий день подходил к концу. Стало смеркаться. На западной стороне, над лесом, раскинулась узкой длинной полосой огненная заря. К вечеру мороз усилился.

Двое буржуев сговорились по заморозку бежать с окопной принудилочки. В потемках они немного отстали от группы, следовавшей в ближнюю деревню на ночлег, и бросились в сторону леса, видневшегося за вспольем. Тягунов кинулся за ними; припав на колени, выстрелил раз и другой. На фоне яркой вечерней зари фигуры беглецов удачно попали на мушку его карабина. Один был убит наповал, дру-

гой еще дышал, но, пробитый пулей в спину навывлет, доживал последние минуты.

— Ну вот и отжил свое... Сколько раз говорил: за побег — смерть!.. — сказал Тягунов и отвернулся.

До рассвета Тягунов не мог сомкнуть глаз. Шутка ли, за всю жизнь ни разу не дрался, лишь однажды, разъярившись, крепко ударил лесозаводчика Рыбкина, а тут сразу двух человек лишил жизни. Но как же было поступить иначе? Конечно, за попытку перебежать на сторону врага нужно стрелять без предупреждения, но ведь он при мечал, что эти двое что-то замышляют. Так не лучше ли было предостеречь их от побега? Эта мысль не давала покоя.

Наутро усталый, сонный, в тяжелом раздумье вышел он сопровождать буржуев на строительство береговых укреплений на реке Ваге. Днем приезжал из ближайшей воинской части комиссар. Расспросив Ивана Тягунова и его помощников-саперов о происшедшем и убедившись, что революционная законность не нарушена, комиссар верхом на бойкой кобылице умчался доложить о случившемся командиру бригады. Тот, выслушав комиссара, сказал:

— Тягунов поступил правильно. Но оставлять его там на окопных работах нецелесообразно. Пусть начальник штаба направит его в боевое подразделение, а на место Тягунова пошлите другого товарища.

Тягунова вызвали в штаб бригады.

Начальник приветливо протянул ему руку:

— Я вас вызвал для личных переговоров с командиром партизанского кавалерийского отряда Хаджи-Муратом. Слыхали о таком? Вот он, знакомьтесь.

Хаджи-Мурат в бешмете и каракулевой шапке-кубанке сидел, опираясь рукой на серебряный эфес кавказской шашки. Тяжелый кольчуг в мягкой кожаной кобуре свисал почти до полу. Известный герой Северного фронта был неказист: смуглый, невысокого роста, с пышными рыжеватыми усами и бакенбардами. Прищурился узкие пронизательные глаза, Хаджи-Мурат спросил с акцентом, обращаясь к начальнику штаба:

— Этот убил два буржуя, а?..

— Так пришлось, товарищ Хаджи-Мурат, — ответил тот, а Тягунов добавил:

— Не хотел, да сами, черти, напросились...

— На бегу срезал?

— Так точно, товарищ Хаджи-Мурат, на бегу.
— Молодец! Метко стреляешь. Поступай в мой кавалерийский отряд. Лошадь получишь. Полное вооружение. А? Тягунов пожал плечами.
— Могу, если начальство прикажет. Только верховой езде я не обучен.
— Никогда не ездил, а?
— Да как сказать... самую малость, без седла когда-то, в молодые годы, в деревне...
— Хорошо. У меня в отряде много таких. Обучу. Будешь орлом летать... — Хаджи-Мурат встал и, показывая на Тягунова нагайкой, сказал:
— Беру в свой отряд.
Так Иван Тягунов стал кавалеристом в партизанском отряде храброго осетина Хаджи-Мурата Дзарахохова, направленного Петроградским Советом на север для боевых партизанских действий.

IX

Полковник Чубаш, изнуренный заботами и бессонными ночами, нередко являлся в штаб позднее всех. Вот и сегодня он всю ночь провел на линии фронта; осматривал укрепления, блиндажи, пулеметные гнёзда и пришел в штаб лишь к полудню.

Чубаша сопровождали два английских офицера. Перетянутые ремнями, со стеками в руках, в лайковых перчатках, офицеры были похожи на дрессировщиков. При появлении английского начальства, молчаливого и надменного, штабные работники встали с мест; проводив их глазами до кабинета Чубаша, молча переглянулись.

Чубаш, усаживаясь за стол, видимо, продолжал прерванный разговор:

— Итак, господа, вчера с полудня я начал осматривать укрепления на линии Конецгорья; нашел, что укрепления слабоваты. Но и у красных, как нам известно, не ахти какие силы...

— Каков дисциплина русский белый солдат? — перебил Чубаша один из офицеров с глубоким шрамом на сушощавом лице.

— На дисциплину не могу пожаловаться. Однако есть слухи, будто бы в наши окопы попадают большевистские

листовки и газеты, что отчасти влияет на солдатские годовы.

Другой английский офицер, пуская колечками дым, укоризненно взглянув на полковника, сказал, коверкая русские слова:

— Очень плёхо, полковник, позволять большефик газеты, листофка...

С папкой подмышкой вошел адъютант. Он развернул перед полковником папку, подобострастно взглянул на англичанин, торопливо начал докладывать:

— За вчерашний день, господин полковник, поступило от союзников тысяча ящиков не весьма доброкачественных галет, четыре пуда табаку, немного виски. Говядина пришла из Америки, к сожалению, низкой кондиции...

— Что значит низкой кондиции, — прервал полковник, — говори по-русски — тухлятина!..

— Так точно, тухлятина! Часть продуктов отправлена на передовую линию... — Адъютант перелистал бумаги и продолжал: — Вот есть требование временного правительства Северной области заготовить у нас в окрестных лесах триста тысяч бревен.

Чубаш взял из рук адъютанта требование, машинально написал резолюцию: «Мобилизовать дополнительно местные население на рубку и возку леса. Исполнить...».

— Есть случаи отказа от работы, жалуются больше старики... — доложил адъютант.

— Союзники пришел уничтожить большефик! — с трудом подбирая русские слова, заговорил английский офицер. — Русский лес, экспорт — наша помощь... Э-э, оружием приказать работать русский мужчин... и женщин. Англичанин нужен лес. Вам нужен чаш помощь.

Чубаш распорядился:

— Напишите приказ — выделить взвод солдат для наведения порядка на рубке леса. Докладывайте...

Адъютант молча положил перед полковником письмо генерала Петренки, оборонявшегося от красных партизан в пинских лесах. Чубаш, отодвинув письмо, спросил, о чем пишет генерал.

— Его беспокоят партизаны. Он просит вас выслать роту солдат на просеку, ведущую с Верхней Тоймы к Пинскому... Что прикажете ответить генералу? — спросил адъютант и выжидающе посмотрел на полковника.

— Напишите ему в деликатной форме, что он старый

дурак и ни черта не смыслил в военном деле. Я своих солдат не пошлю на съедение красным. Чего захотели!.. Партизаны — здешние охотники, звероловы, в лесах они — как рыба в воде... Послать роту? Да ведь всю роту перестреляют, как... рыбчиков! А то и сами солдаты разбегутся по домам.

Англичане что-то записали в свои книжечки.

— Докладывайте, адъютант, что нового в Архангельске?

— Обычно, господин полковник. Меняются министры, усиливаются репрессии против большевистских элементов. Наша контрразведка и союзная состязаются в этом деле.

Чубаш, звякнув под столом шпорами, сказал:

— Английская и американская контрразведки не чета нашей. У них опыт, размах, деньги...

Один из офицеров попробовал что-то возразить о единстве цели, но Чубаш перебил его:

— И наша цель и ваша цель — знаю, в чем и где соприкасаются...

— Союзники пришли Архангельск-порт кончать большефик...

— А еще? — вопросительно посмотрел на них Чубаш. — Нельзя ли попрямей, господа офицеры? Архангельск, Мурманск, Онега — север России, это вам не пустыня Сахара... Лес, пушнина, рыба, скот...

— Олл-райт! — в один голос воскликнули англичане.

— Вот то-то и есть, — разошелся Чубаш. — Война — войной, а деньги на бочку... Откровенно говоря, господа офицеры, ваша помощь — оружие, амуниция, провизия — нам не дешево обходится. И если затянется война с большевиками, Север, как видно, с вашей помощью будет истощен. Ну да чёрт с ним! Цель оправдывает средства...

Англичане встали и, натянув перчатки на холеные тонкие руки, собрались уходить.

— Вы не есть оптимист, господин Чубаш. У вас слабый натура... Вы есть плохой вояка!..

— И на том спасибо, — криво усмехнулся полковник.

Когда английские офицеры ушли, Чубаш облегченно вздохнул. Вызвав по телефону какого-то поручика, он приказал подготовить людей к отправке в окопы на линию Конецгорья, предупредив, что на место караульной роты

вступит вторая маршевая. Отодвинувшись от стола, Чубаш откинулся на спинку стула. Ему захотелось выпить крепкого английского виски и отоспаться...

К концу дня в штабе стало шумно. Хлюстов что-то громко диктовал делопроизводителю. Учащенно стрекотал «Ундервуд». Адьютант, то краснея, то бледнея, распекал двух неосторожно проворовавшихся капитанармусов, обещая предать их полевому суду. Чубаш заперся в кабинете; заложив руки за спину, взволнованно ходил из угла в угол. Он только что просмотрел архангельские газеты и большевистские листовки и под впечатлением прочитанного был полон тревожных неотвязных дум.

Подойдя к карте, полковник провел пальцем от Архангельска до Онеги и дальше на северо-запад, подумал: «А что если большевики прижмут нас вплотную к Белому морю? Один тогда выход — через Сороку и через Кемь в Финляндию. Впрочем, еще есть выход — застрелиться... Тыфу, чёрт побери! Нечего сказать, хороша перспектива! Не будь я кадровым офицером, не будь так скоро произведен в полковники и, наконец, не имей такого близкого отношения к партии эсеров, кто знает, может, был бы я сейчас по ту сторону фронта... Кажется, не совсем складно сложилась моя судьба...».

В сумерки поручик рапортовал полковнику:

— Маршевая рота прибыла. Солдаты стоят и ждут вашего, господин полковник, напутствия.

— А священник пришел? — спросил Чубаш.

— Пришел...

— Хорошо. Пусть люди перекурят...

Чубаш переставил на карте два флажка, — поменял местами маршевую роту с караульной. Строгий, подтянутый, он прошел через соседнюю комнату на балкон.

— Рота! Слушай команду! — послышался на улице четкий голос поручика. — Равнение направо!.. Смирно!.. На молитву, шапки долой!..

За аналоем, перед шеренгой белогвардейцев, старенький поп раскрыл евангелие. Рядом стояла хоругвь, воткнутая древком в асфальт.

— «Благословен бог наш всегда ныне и присно и во веки веков!..» — Поп махнул кадиллом. Когда он затянул «Спаси, господи, люди твоя!..», из роты несколько хриплых голосов подхватили:

— «По-бе-ды белому правительству нашему на супро-тившы-я да-ру-я...»

Кончился скоропалительный молебен. При общей тишине с балкона раздался голос Чубаша:

— Здо-ро-во, молодцы!..

— Здрав-жлам-вашество!..

— Вольно!

— Братцы! — крикнул Чубаш, и ему показалось, что он взял слишком высокую ноту; помолчал немного и, проглотив слюну, стал отрывисто выкрикивать:

— Братцы! Северные храбрецы! Близок час расплаты. Грозная сила союзных держав нависла над разъединенной и разрываемой на куски Россией. Еще несколько дней, — и мы соединимся с армией Колчака. Советская республика состоит всего из шести-семи губерний. Огненное кольцо сжимается вокруг Москвы... Не сегодня — завтра в Петроград вступит Юденич... Генерал Деникин одержал крупную победу... Братцы! Еще немного терпения, отваги, — и Москва будет наша! До Вологды осталось ать-два, — и готово! На фронте вы воочию убедитесь, как заботятся о вас наши союзники: вы и сыты, и одеты, и вооружены благодаря союзникам! Красная Армия не может этим похвастать. Сила на нашей стороне. Братцы! Еще напор — и враг бежит... За единую и неделимую Россию... Урал..

Послышался недружный всплеск солдатских голосов. Поп помахал металлическим распятием, поплескал кропильницей; полковой оркестр из двенадцати трубачей заиграл походный марш.

— Прямо вдоль дороги — шаго-ом, арш!..

Грузная поступь... Рота белогвардейцев двинулась на передовую.

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка, жалобно поет...

Х

В отряде Хаджи-Мурата насчитывалось всего до восьмидесяти всадников. Ловкому, смелому и опытному командиру достаточно было и этого числа храбрых бойцов, чтобы наводить ужас на белогвардейцев и интервентов. Принимал он к себе в отряд не всякого. Быть в отряде Хаджи-Мурата среди северных храбрецов Ивану Тягунову каза-

лось лестным. Буржуев-принудильщиков он охотно сдал по табелю вновь назначенному на его место товарищу и немедленно отправился в отряд.

Ничто так не удивило Ивана Петровича в отряде Хаджи-Мурата, как неожиданная встреча со своими давними приятелями — Степаном Кошкиным и Семеном Глухаревым.

— Вы-то как здесь оказались?

— А ты-то как сюда попал?

И начались расспросы без конца. Подсчитали: десять лет не виделись. И рассказали Ивану Кошкин с Глухаревым, как в эти годы они с немцами воевали: один на Карпатах, другой в Августовских лесах; как потом бежали с фронта домой и утверждали советскую власть в северодвинских деревнях и как, организовав партизанский отряд, присоединились к отряду Хаджи-Мурата.

— А мы от ваших усть-кубинских слышали, будто ты в тюрьме сидел? — напрямик поинтересовался Семен Глухарев. — Мы что-то в ту пору не поверили, ведь ты для тюрьмы совсем неподходящий. Правда это, или нет?

— То, что сидел в тюрьме, — правда, и три года под надзором полиции был — тоже правда. Но прямого отношения я к тому делу не имел, потому и обошлись со мной вроде бы мягко, — коротко пояснил Иван. Больше его никто не спрашивал о былом, — не до того было фронтовикам.

... Отряд Хаджи-Мурата стоял в резерве на отдыхе. Бойцы небольшими группами, в пять-шесть человек, разместились в крестьянских избах. Вблизи был фронт. Но фронт не в обычном понимании этого слова: позиции красных и белых не тянулись здесь бесконечной линией окопов, блиндажей и проволочных заграждений, не было тут ни частых стычек, ни перестрелок, ни артиллерийских канонад. Окопы и колючая проволока как с той, так и с другой стороны опоясывали лишь подступы к селам и отдельным крупным деревням. На громадных же пространствах северных лесов, на пустырях, пожнях, подсеках линия фронта обозначалась весьма условно. Но стояли на лесных опушках патрули, ходили дозоры и взаимно проникали в чужие тылы разведчики и разведывательные отряды. Красные разведчики — особенно из партизанского отряда Хаджи-Мурата — нередко совершали глубокие рейды и внезапно нападали на врага.

Деревня, где после боев отдыхал в эти дни отряд Хаджи-Мурата, раскинулась на берегу реки Ваги, впадающей в Северную Двину. Здешние жители в мирное время заготавливали и славляли древесину, гнали деготь и курили смолу, пахали и сеяли, разводили скот. С приходом интервентов в Архангельск, многие из трудоспособных крестьян ушли воевать, а домочадцы — старики и женщины, подростки — ребята и девки — перекочевали подальше от фронта.

В одной из опустелых изб разместилось шесть бойцов. Изба была оставлена в порядке: широкие крашенные лавки вдоль стен, белая русская печь сложена на прочном деревянном срубе; безымянный северный художник намалевал на срубе две тюленьих головы. Долговечный березовый стол придвинут в передний угол. От воронца к дверям, на высоте человеческого роста — прокоптевшие, из сосновых досок, полати. Под полатями в стене — деревянные спицы; на них когда-то хозяин развешивал сушить сбрую, а теперь здесь висели солдатские вещевые мешки, шинели, винтовки, сабли.

Сидя на лавке, засучив рукава гимнастерки, Степан Кошкин старательно чистил винтовку-драгунку. Рядом, в расстегнутой фуфайке, Глухарев от безделья пиликал на гармошке, разучивая мотив новой песни. Этой песне тихо тенорком вторил Степан, заглядывая против света в до блеска начищенный ствол драгунки.

На Северном Пинежском фронте,
В низинах болотистых мхов,
Бьются герои за правду,
За счастье грядущих веков...

Иван Тягунов и еще трое красноармейцев, сидя за столом, доедали похлебку. В избу вошел матрос в бушлате, с пулеметными лентами, с двумя гранатами и маузером, свисающим до колена; на ногах — сапоги со шпорами, подошвы основательно подвязаны телефонным проводом. Вслед за матросом в дверях показался командир отряда Хаджи-Мурат.

— Салям алейкум, мои боевые орлята!..

— Здравствуй, товарищ командир! — ответили в один голос бойцы и принялись быстро приводить себя в порядок, застегивать гимнастерки, подпоясываться ремнями.

Хаджи-Мурат оглядел помещение, сказал с сильным кавказским акцентом:

— Большой, хороший изба! Слушай, матрос, соберем сюда боевых орлят, вопросы решим, речь скажем...

— Когда прикажешь?

— Немедленно собрать людей...

— Есть собрать людей! — повернулся матрос и вышел исполнять приказание. На улице, вынув из деревянной колодки маузер, он выстрелил в воздух. Красноармейцы схватились было за винтовки. Хаджи-Мурат с кольцом в руке бросился к окну:

— Чёртова душа, матрос, лень хаты обойти, — патрон испортил... — Спрятал кольцо и — к столу, заглянул в котелки.

— Молоко обедали? А заплатили за молоко?

— Как же, товарищ командир, обязательно.

— И пьют здесь молоко, кипяток, чай-заварку. Эх, у нас на Кавказе какой бы вы чихирь пили! — Хаджи-Мурат чмокнул губами и сузил хитрые глаза. — Язык проглотить недолго! Хорош кавказский чихирь! И в голове такое ходит, а ноги сами лезгинку пляшут...

— Это вроде нашей самогонки? — поинтересовался Глухарев, охочий до хмельного.

— Понимай как хочешь, я самогонки не пил, а ты чихирь не пробовал... Во многих странах я бывал — и в Китае, и в Америке, и еще кое-где, а такой чихирь пьют только у нас на Кавказе...

— А что вы делали в Америке? — полюбопытствовал Тягунов.

— В Америке золото добывал, только не в свой карман. А бегал я в Америку через Китай, через Мексику. Было дело: в молодые годы я немножко урядника зарсзал, зачем мою сестру воровал!..

— Вот как! — удивился Иван Петрович. — Значит, от каторги бегал!..

Хаджи-Мурат насупился, пошевелил желваками, отчетливо еще больше распушились его пышные усы. Он знал себе цену: на родине слыл лучшим джигитом; за границей, в эмиграции, не растерялся, не погиб; в войну имел все георгиевские отличия; а главное, еще до октября семнадцатого года он во главе целого отряда из «дикой дивизии» перешел на сторону большевиков...

Одни за другим приходили в избу бойцы. Последним

явился ординарец-матрос; звякнув шпорами, отрапортовал Хаджи-Мурату:

— Товарищ командир отряда!.. Сорок пять боевых орлят налицо, двое в дозоре, трое в разведке; восемь человек с двумя пулеметами в крайних домах, пятеро стергут лошадей. Один с вашим поручением уехал до штаба бригады и пока не вернулся. Остальные находятся на излечении, явиться не могут!..

Хаджи-Мурат снял кубанку, вслед за ним сняли фуражки и шапки бойцы.

— Объявляю повестку дня. Вопрос первый — разговор Хаджи-Мурата с бойцами. Второй вопрос — прием новых бойцов в наш отряд, и третий — разное... — Хаджи-Мурат задымил кавказской трубкой, погладил усы. — Начнем, товарищи!..

Матрос, поставив перед собой на стол две отстегнутые от пояса гранаты, приготовился записывать речь Хаджи-Мурата. Командир отряда любил выступать перед бойцами и считал, что его речь должна записываться в протокол.

Он говорил и курил трубку, пуская один столько дыма, сколько все остальные. Несмотря на необычайную подвижность, он произносил длинные речи без единого жеста. Так и теперь:

— ... И если у кого из вас душа трясется как хвост ишака — такого труса вон из отряда!.. И смотрите в оба, чтоб не было изменников. Предателю — долой башка!.. Правильно я говорю? Может, плохо, некрасиво я говорю? — спрашивал Хаджи-Мурат, сверкая узкими хитрыми глазами.

— Правильно! Понятно!..

Хаджи-Мурат откладывал трубку на стол и, ухватившись за новую мысль, продолжал:

— Царь-правительство, помещики, князьки и жандармы миллион годов угнетали русский, кавказский и прочий трудовой рабоче-крестьянский народ. Народ свободы добился, интернационала, а генералы белые, английские, американские, французские и всякая такая сволочь хотят отнять нашу свободу, надеть нам петлю на шею... Не пройдет это. Моя голова так думает. А вы как думаете, боевые орлята?..

Снова трубка в зубах Хаджи-Мурата. Снова бойкие отклики бойцов. Довольный оратор бережно разглаживает

мягкие усы. Шум улегся, и Хаджи-Мурат, обдумав продолжение своей речи, заговорил снова:

— Скажу между нами: я, Хаджи-Мурат, и вы, мои боевые орлята, были недовольны, что нас перекинули с Плесецкой на Двинский фронт. Мы неправильно были недовольны. Наше место здесь, и здесь мы будем рубить врага на куски. Вчера в штабе бригады я слышал серьезный разговор. На Восточном фронте что-то неладно. Колчак продвигается к Вятке. И еще я слышал проездом из Москвы на фронт — в Вятке два больших человека были: один — наш горный кавказский орел Сталин, другой — главный начальник Вечека — Дзержинский. По указу Ленина, оба едут дела поправлять на Восточном фронте. Они сказали нашим командирам, что на железнодорожном фронте отрезан путь наступления англо-американцам к Вологде. Надо крепить наши позиции здесь, на Двинском фронте, не дать интервентам и белогадам соединиться с Колчаком. А потом будем наступать через шенкурские и важские волости, станем набегу продолжать во вражеский тыл, обогнать громить, резервы, штабы. Мы, конный краснопартизанский отряд, большую службу сослужим революционному народу. Правильно я говорю?..

При этих словах Хаджи-Мурат достал из кармана черески свернутую потрепанную газету и, развернув ее, показал собранию:

— Вот, полюбуйтесь... Пишет белогвардейская газета: убит, изрублен в порошок Хаджи-Мурат!.. Нет, врете, мерзавцы! Я, крестьянский сын, Хаджи-Мурат Дзарахохов, жив, здоров, цел, невредим. И клинок мой еще порубает ваши пустые головы. Вы, мои боевые орлята, не в прекрасной кавказской стране выросли. Учитесь у Хаджи-Мурата, как на коне летать надо, как рубать надо. Засхали в белый тыл — людей не обижать, резать только белую банду да интервентов, женщин не трогать, вещей не брать. Мы — авангард революционного народа... За кражу вещей — расстрел. Помните слова Хаджи-Мурата.

Впервые присутствуя на таком собрании, впервые слыша речь командира-осетина, человека, обладающего большевистской закалкой и отлично понимающего общие цели революции, Иван Тягунов мысленно восхищался им. «Вот такие люди, — думал он, — стоя во главе красных войск, да еще при поддержке всего трудового люда, добьются окончательной победы над врагом...».

Хаджи-Мурат сел рядом с матросом. Тишина. Кто-то кашлянул. Кто-то нерешительно проговорил:

— Я хочу спросить товарища командира... — с лавки поднялся высокий, сутуловатый детина; много лет походил он за сохой и немало вырубил деревьев на лесосеках у хозяина-лесопромышленника. — Вот вышвырнем мы англичан и американцев в Белое море, отводем обратно Архангельск, пошлют ли тогда нас на другой фронт?

Хаджи-Мурат показал на Глухарева.

— Вот ты, товарищ Семен, отвечай этому бойцу — как твоя голова думает?

— А моя голова так думает, — вскакивая с места, бойко отвечал Глухарев: — Возьмем Архангельск, поедим трески и сёмги — и сразу же двинемся на Карельский фронт биться до полной победы.

— Правильно!

— У меня вопрос, — встал еще один боец с перевязанной головой: — Хаджи-Мурат много воевал; боится он смерти или нет?

— А сам боишься? — спросил Хаджи-Мурат.

— Я когда в бой иду, то сломя голову, и ни о чем не думаю.

— То-то вот, потому и голова с обручем. Моя голова так думает, — деловито отвечал Хаджи-Мурат: — не бойся смерти, но остерегайся. Прятаться за спину товарища не позволю!.. Стреляют в тебя, — за кочку, за камень, за пень, за что угодно ложись, отстреливайся. Я жить хочу и жизнь люблю не меньше вашего. Знаете, я в бой лечу всегда без шапки. Почему? Да в шапке голова крупнее, интервенту легче целиться. А без шапки не скоро попадешь. Так ведь?..

— А вот, скажем, нас двадцать-сорок человек, заехали далеко в тыл. И вдруг нас окружили человек двести-триста. Что тогда делать — гибнуть или сдаваться?..

Хаджи-Мурат не мог усидеть на месте, вскочил, быстрыми шагами прошелся перед собравшимися: зазвенели шпоры на узконосых коротких сапогах.

— Глупый вопрос! Что за рассуждение такое?! Надо прорвать кольцо, повернуть коней и обратить противника в бегство, а отступающего рубить — легкая работа!..

Еще были вопросы, и матрос выступал с призывом драться за мировую революцию. Наконец Хаджи-Мурат, махнув рукой, сказал:

— Хватит разговоров. Резолюция такая, — запишите у себя в голове, а матрос — на бумаге: «Драться с белогвардейцами и интервентами до последней капли крови, не пускать интервентов на соединение с Колчаком!». Резолюцию послать комиссару бригады и в газету «Наша война». Нет против?.. Принято!..

Во время собрания в избу вошли два местных крестьянина. Их заявления о добровольном вступлении в отряд должны были обсуждаться сегодня.

— Проверял людей? — спросил Хаджи-Мурат своего ординарца, всматриваясь в бородатые лица новичков — северных землеробов.

— По происхождению наши, по боевым качествам — пока неизвестны.

— Это дело наживное, — осторожно вставил Иван Тягунов. — Главное, чтобы вера была в наше правое дело, а воевать научатся.

— Как ваши фамилии? — спросил Хаджи-Мурат новичков.

— Я Набоков.

— А я Ветлугин.

— Пройдите к столу, сюда, сюда... покажитесь нашему народу.

— Это можно, товарищ командир, — и они продвинулись к столу, встали бок в бок.

— Почему сразу в Красную Армию не вступили? Почему в наш отряд хотите?.. — слышались вопросы бойцов. — Воевали ли раньше, и где?..

За себя и за соседа отвечал Набоков:

— С опозданием вступаем, да но вы не обессудьте. Мы приглядывались, разбирались помаленечку. Сами знаете, в наших местах эсеры много баламутили. А потом — видим-понимаем, что такое советская власть, и вот решили к вам обратиться: возьмите нас к себе, не пожалеете... Пользу дадим, а понадобится головы сложить, — и это можем... Лет пятнадцать тому назад я на сопках маньчжурских дрался с япошкой. Сквозную рану в плечо имел...

— А я не воевал, — сказал Ветлугин, — льготой при царе пользовался, но воевать сумею. Я в стрельбе самому Хаджи-Мурату не уважу. Белку дробинской в глаз быю...

— Так то белку!.. — протянул матрос, задетый хвостов-

ством крестьянина. — Посмотрим, как ты белых будешь стрелять, а белка — существо безобидное.

— Оно, конечно, если так рассуждать... — смутился Ветлугин.

— Шашкой рубить умеете? — спросил Хаджи-Мурат.

— Никак нет, — ответил Набоков.

— Штыком колоть?

— Оно дело не хитрое, — отозвался Ветлугин, — на медведя с рогатиной восемь раз хаживал.

— Молодец! — похвалил его Хаджи-Мурат и, обращаясь к бойцам, сказал: — Моя голова так думает — принять обоих в наш отряд.

После собрания решено было повеселиться.

— Пляши, братва, по-русскому, по-кавказскому! — распорядился командир.

Тягунов крикнул Глухареву:

— Дашь «яблочко»? Эх, давно не плясывал, ноги мои, ноги, выручайте!

Рванула гармонь, Иван будто поплыл по затоптанному полу. Дальше — больше, он стал выкидывать разные колена и припевать:

Эх, яблочко,
Да очень спелое,
Бейте, бейте, не жалейте
Сволочь белую!

Протопал от передней лавки до дверей и обратно, повернулся на одном носке, ударил ладонь о ладонь, щелкнул пальцами, присвистнул и снова запел:

Англичаночка,
Куда котишься?
Ты живая от нас
Не воротись!..

На смену Тягунову вышел сам Хаджи-Мурат. Он хотел показать своим орлятам танец Шамиля, но Глухарев еще не освоил такой музыки, и Хаджи-Мурату пришлось ограничиться лезгинкой.

Лезгинка оборвалась в самом разгаре, — как раз в этот момент разведчики привели двух пленных англичан. Бойцы насторожились, все повернулись в сторону пленников, остановившихся под полатами.

Находясь долгие годы в эмиграции, работая на американских капиталистов в Клондайке, Сан-Франциско и других местах Соединенных Штатов, Хаджи-Мурат хорошо овладел английским языком. На Северном фронте знание английского языка было очень кстати при допросе пленных.

Усадив англичан на скамью перед столом, Хаджи-Мурат сначала спросил своих разведчиков, где им удалось добыть пленных. Узнав, что они захвачены в белогвардейском тылу, верстах в десяти от передней линии фронта, и доставлены сюда дальним окольным путем, Хаджи Мурат поблагодарил разведчиков и приступил к допросу.

— Прошу не удивляться, джентльмены, — сказал по-английски Хаджи-Мурат: — я, кавказский человек, живал-работал в Америке. Товарищи меня называли там по-своему — Гарри...

— Гарри? Меня тоже звать Гарри... — отозвался один из пленников. — Родина Ливерпуль...

— Я из Манчестера, — сказал другой, — звать меня Джон. Вот мой военный билет...

— Добровольцы? — меняя тон, сурово спросил Хаджи-Мурат. — Наемники Черчилля? Приехали хозяйничать на чужой земле? Стрелять, убивать, грабить народ? Мы не причинили вам никакого вреда. Зачем убивать? Грабить зачем?.. Хорошо, что вы попали в плен. Из русского плена ближе до Англии, нежели из могилы. В могилу вас толкает мистер Черчилль. Так ведь? Значит, вам повезло? Прошу рассказать мне всю правду: что вам известно о белых войсках, о местах расположения англичан и американцев? Что известно о запасных укреплениях на пути к Архангельску, и где расположены эти укрепления?.. А как их взять, это мы сами сообразим. Каковы построения английских солдат? Говорите. Матрос запишет...

Пленники робко переглянулись и, не спеша, стали отвечать на вопросы Хаджи-Мурата. Выслушав их, он сказал:

— Вот, господа-джентльмены... Мы хозяева в своем доме. И наведем порядки без вашего вмешательства. А также и другие, все народы хотят жить в мире, не хотят видеть на своей земле захватчиков. Запомните это навечно. Не ходите в чужой дом, потеряете свою голову... Матрос, отведи их до штаба бригады, пусть там с ними разговаривают. Мне больше не о чем...

Глубокие снега покрыли промерзлую землю. По заснеженным плесам Северной Двины гуляли метели. Нелегко было красным воевать в эту студеную пору. Ветхая, изношенная в военные годы одежка плохо согревала при морозе в тридцать-сорок градусов. Но советские войска на Северном фронте, почти сплошь состоявшие из выносливых северян-вологжан, устюжан и коми-зырянских охотников, невзирая на морозы и полуголодное существование, выносливо и храбро держались на занимаемых ими позициях.

Иван Тягунов в отряде Хаджи-Мурата был одним из передовых бойцов. Дисциплинированный коммунист, смелый и хладнокровный, он скоро подружился со всеми бойцами в отряде. Его уважали товарищи, Хаджи-Мурат иногда поручал ему делать доклады на собраниях партийной ячейки, проходивших в присутствии беспартийных бойцов. Доклады строились на газетных материалах, с привлечением фактов из показаний пленных, а также из допесений разведки. Если же доклад Тягунова казался Хаджи-Мурату не исчерпывающим, он дополнял его сам, клеймил позором гидру контрреволюции и призывал стоять за советскую власть, не жалея жизни.

К концу девятнадцатого года Красная Армия на отдельных участках Северного фронта перешла в наступление. Интервенты терпели поражение за поражением. Зарыв трупы своих солдат на архангельском — иноземческом кладбище, сплошь заставленном шеренгами каменных крестов, англо-американские захватчики, прикрываемые белогвардейскими частями, наконец, покинули Архангельск.

Красная Армия росла и крепла. Решено было начать наступление и на Архангельск, обороняемый на дальних подступах белогвардейскими полками.

В эту пору отряд Хаджи-Мурата, проникнув в глубокий вражеский тыл, захватил несколько обозов, шедших из Архангельска в лагерь полковника Чубаша, отразил натиск белогвардейских резервных подразделений и закрепился во вражеском тылу на путях, по которым можно было ожидать отступления белогвардейцев.

Однажды лыжники из отряда Хаджи-Мурата обнаружили провод, соединявший штаб полковника Чубаша с Архангельском. Телефонист со своим аппаратом умело

включился в белогвардейский провод. Надев белье поверх ватных штанов и фуфайки, замаскированный, сидел он на снежном бугорке и терпеливо ждал, когда штаб Чубаша начнет переговоры с Архангельском. Неподдалеку в глубоком овраге разместился патруль: Иван Тягунов, Семен Глухарев и еще двое красноармейцев. На дне оврага из-под снега торчали коряги — следы бурелома. Бойцы сидели на толстых стволах валежника, жгли костер, сушили рукавицы, грелись и балагурили. Один из бойцов, сняв валенки и придвинув к самому огню заочеченвшие ноги, размышлял вслух:

— И патрончиками теперь запаслись мы вдоволь, и гранаты есть, и пулеметы не в диковинку стали. Ударить бы по Чубашу врасплох, поднять там панику, да скорей разделаться с блогоадами...

— Паника на войне — дело серьезное, — отозвался Глухарев простуженным хриплым голосом. — В германскую войну в нашем полку был Федька Нобель, — мастер наводить панику. Сам он из тотемских, а пройдоха такой, что и в Одессе не сыщешь.

— Тотемский Нобель? — перебил красноармеец, гревший ноги. — Я сам тотемский, а такой фамилии в наших местностях что-то не слышал. Не врешь ли?..

— А ты слушай и не перебивай, — продолжал Семен, — мало ли чего ты не слышал!.. Верно, ему настоящая фамилия была Морковский, а Нобелем прозвали за то, что он у нас в полку керосином заведовал. Ну так вот, шибко умел этот Нобель гудеть — ни дать, ни взять, шестидюймовый снаряд летит. Бывало около штаба Федька спрячется за угол, да как загудит: гу-у-у!.. Офицеры выскочат и, словно крысы, со страху в землянки кинутся, а Федька опять: гу-у-у... Спервоначалу — нечего греха таить — и мы от Федькина гудения наземь валились. После полковник узнал о нобелевских шутках, — посмеялся. И сам, потом, бывало, офицеров пугал: «Вот погодите, позову Нобеля, он вас в блиндаж загонит...» Ну-ка, Иван, подкинь дровишек, не жалей...

Тягунов сидел у костра и ломал звенящий на морозе сухой хворост. Пошевелив палкой головни, он не спеша стал клеточкой складывать в костер сучья. Огонь постепенно охватывал их, снег вблизи костра шипел и таял. Выше оврага по перелеску отчаянно завывал ветер.

Когда костер снова запылал, Тягунов привстал и

взглянул на бугор, где сидел замаскированный продрогший телефонист. Прислонив к уху телефонную трубку, телефонист что-то записывал. «Не иначе, перехваченный телефонный разговор», — подумал Иван. Действительно, в эту минуту телефонист услышал, как военный диктатор разграбленного Севера, генерал Миллер, вызывает к проводу полковника Чубаша. Телефонист оживился; даже мороз не помешал ему сбросить рукавицы и приготовиться записывать предстоящий разговор.

В телефонную трубку послышалось, как из подземелья:
— Говорит генерал Миллер... Позовите полковника Чубаша.

Чубаш не замедлил ответить:

— Я у телефона... (Последовал обмен приветствиями).

— Как дела, полковник Чубаш?

— Плохи, ваше превосходительство.

— Обрисуйте подробнее.

— Окружены, отрезаны... С фронта регулярные красные войска готовятся наступать. В тылу, по данным нашей разведки, орудует смешанный конно-лыжный отряд Хаджи-Мурата. Есть сведения, что у них имеются орудия...

— Известна ли вам, полковник, численность отряда действующего в вашем тылу?

— По донесениям разведки, около тысячи человек.

— Н-да... — протяжно мычит в трубку Миллер. — Дело серьезное...

— Нужна помощь, выручайте!.. — настаивал Чубаш.

— На помощь не рассчитывайте; во-первых, передвижение войск по зимним дорогам заняло бы слишком много времени; во-вторых, как вам известно, союзники покинули нас. Обходитесь своими силами.

— Дело плохо, ваше превосходительство. Обозы, шедшие к нам, вместе с охраной захвачены хаджи-муратовцами.

— Не пускайтесь в панику, и бог вам поможет...

Чубаш буркнул что-то в ответ, и разговор кончился.

Вдвоем с ординарцем-матросом, бороздя лыжами рыхлый снег, Хаджи-Мурат пробирался к оврагу проверять патруль. Здесь телефонист доложил ему о перехваченном разговоре. Хаджи-Мурат молча слушал, сосредоточенно обдумывая план дальнейших действий. Казалось, более подходящего момента для разгрома Чубаша нечего и ждать. Нужно послать двух самых быстрых лыжников в

обход, чтобы сообщить линейным частям Красной Армии о готовности отряда наступать с тыла на полк Чубана.

Послав телефониста снова дежурить к проводу, Хаджи-Мурат предупредил:

— Товарищ, если еще какой разговор будет, махни мне рукой. Хаджи-Мурат хочет сам послушать...

Через несколько минут, заметив условный сигнал телефониста, Хаджи-Мурат, подойдя к нему, взял трубку. Но недолго прислушивался он к телефонному разговору, не вытерпел, вмешался:

— Здорово, белый полковник Чубаш!.. Это говорит канкавский орел — Хаджи-Мурат. Разговор у меня короткий: разоружайся и сдавайся в плен. Всё равно, на небо тебе не улететь и в землю от нас не спрятаться... Чужую и свою кровь проливать не советую. Еще раз говорю — кончай базар, иначе худо будет...

Ночью подошли к селу. А утром с гиканьем, свистом и криками «ура» хаджи-муратовцы ворвались в село, переполненное белогвардейцами.

XII

Разоруженные белогвардейцы были выстроены в две шеренги. Левый фланг вытянулся далеко за околицу села. Красноармейцы и партизаны с винтовками наперевес стояли поодаль от пленных, зорко их охраняя. Матрос с обнаженным маузером сгонял остатки притаившихся в избах белогвардейцев. Иван Тягунов, возглавлявший группу мяжников, подсчитывал захваченные трофеи.

Радостно возбужденный, Хаджи-Мурат появился перед строем пленных. Шашка, кинжал, кольт — всё выглядело на нем красиво и строго. И когда он проходил мимо пленных, те подтягивались. Слышался сдержанный шёпот: «Это он самый и есть...» Быстрыми шагами Хаджи-Мурат измерил длину строя и вновь торопливо прошагал обратно на правый фланг.

— А, ну белая банда, слушай моя команда! — Голос его был резким, пронзительным. Строй пленных зашевелился.

— Писа-право равняйся!.. По порядку номеров расчитайся!.. — Волной прокатился расчет — вначале отчетливой, дальше слабее, и, наконец, где-то на левом фланге он совсем заглох.

— Кто тут у вас Чубаш? Выходи сюда?..

Из второго ряда, одетый в английскую шубу, сутулясь, вышел полковник Чубаш, мрачный, осунувшийся. Перед строем пленных, в трех шагах от Хаджи-Мурата, Чубаш остановился, приставил ногу к ноге, козырнул и с напускной бодростью произнес:

— Я полковник Чубаш!..

— Добавь — бывший! — поправил его откуда-то со стороны матрос-ординарец.

Чубаш покосился на матроса.

— Да, бывший... — сказал он, скинул шубу на снег и, сорвав с френча погоны, бросил их к ногам Хаджи-Мурата.

— Я к вашим услугам.

— Не надо нам ваших услуг, — строго ответил Хаджи-Мурат.

— Прошу извинить, — сорвалось с языка Чубаша.

— Извинений тоже не надо, — сказал сурово Хаджи-Мурат, помахивая пагайкой, — Скажите, сколько тут вашего бывшего войска?..

— Точно не знаю... вероятно, около тысячи.

— Плохо не знать, надо знать. — Хаджи-Мурат обернулся к стоявшему поблизости Тягунову: — Товарищ Тягунов, оружие подсчитано?

— Подсчитано.

— Сколько?

— Винтовок разных систем — английских, американских и французских — одна тысяча семьсот. Пулеметов шестнадцать. Орудия в неисправном виде, пригодность их выясняется. Лошади вас интересуют?..

— Сколько их?

— Сорок девять. Повозок на полозьях сорок, колеса не подсчитаны, занесены снегом. Провиант и амуниция учитываются, — продолжал докладывать Тягунов. — В церковной сторожке обнаружен духовой оркестр — двенадцать трубачей, два барабанщика и капельмейстер.

— Продолжайте подсчет. Наводите порядок, — и, погладив пышные усы, Хаджи-Мурат обратился к стоявшему навытяжку Чубашу:

— Надень шубу. Простудишься...

Дрожащие пальцы полковника пробежали по крючкам одежды американского покроя.

— Плохой ты вояка, Чубаш! Тебе полк доверили, це-

дый полк!.. А я бы такому полковнику двух собак не доверил... Солдат своих обманывал: то изрублен Хаджи-Мурат, то сто тысяч за мою голову обещал. Вот моя голова, а где сто тысяч твоих, а?..

— Я о вашей храбрости был всегда высокого мнения, — Чубаш натянуто улыбнулся. — Своим офицерам я вас в пример ставил. Вообще, знаете, я за последнее время переживал душевный разлад. Давно думал переломить свою шпагу и сдаться большевикам...

Хаджи-Мурат прервал его. Сверкая узкими, пронизывающими глазами, он закричал:

— Мерзавец! Врешь! Хитришь! Ты трус!.. Ты враг!.. У тебя змеиное сердце. Никогда Хаджи-Мурат не поверит льстивым речам врага. Марш! На левый фланг...

Чубаш нахмурился, повернулся на каблуках и, вскинув голову, двинулся к указанному месту.

Снова Хаджи-Мурат подозвал к себе Тягунова, отвел его в сторону и спросил:

— Как твоя голова думает — не провести ли нам митинг с пленной публикой?

— Мысль правильная, товарищ командир. О чем разговор, и кому прикажете выступать?

— Начиная ты, товарищ Тягунов. Тут здешний народ, северный. Тебе легко с ним разговаривать. Быть может, кто из пленных слово скажет. Будет надо — я выступлю. Ты готов сказать слово?..

— Готов, товарищ командир.

— Молодец, люблю!..

Хаджи-Мурат от удовольствия опять погладила свои усы, приказал матросу построить пленных в колонну по четыре и развернуть полукругом. Вместо трибуны поставил вытасенные из-под навеса каргопольские сани с широкой беседкой. На них тотчас вскочил Хаджи-Мурат и, объявив митинг открытым, предоставил слово Тягунову.

Опираясь на карабин, Иван Петрович встал рядом с Хаджи-Муратом. Сдвинув солдатскую панаху на бритый затылок, он обвел глазами тысячную толпу пленных, окруженных редким строем конвоиров, и увидел перед собой унылые лица белых солдат, северян-землеробов, сплавщиков и лесорубов. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу и жвакась от холода. Только Чубаш и несколько бывших офицеров, стоявших в стороне от пленных солдат, были одеты в полевое добротное обмундирование.

— Граждане пленные! — разнесся громкий, уверенный голос Тягунова. Толпа пленных зашевелилась. Кое-кто улынулся: понравилось обращение — граждане. — Вы про Катрому слышали?

— Как же, слышали!.. Это что в соседнем, Кадниковском уезде?.. — слышались голоса.

— Ну вот... — удовлетворенно продолжал оратор. — А на Кубине кто-нибудь лес сплавлял? А у Рыбкина и Никуличева на барках хаживал?.. — И опять слышалось в ответ:

— Как же... есть и такие.

— Так с кем же вы воевали? Против кого вы руку поднимали? О чем вы думали своими головами больше года прежде чем сдать в плен красным войскам? Разве вам не было известно, что вы, обманутые миллерами и чубашами, в угоду американскому и английскому капиталу полезли драться на своих же братьев в том числе вот и на меня, на катромского бедняка, на кубинского бурлака?.. Разве вам не известно, что рабоче-крестьянская советская власть победила в Октябре семнадцатого года, что мы, рабочие и крестьяне, сами теперь хозяева на своей земле?

— Да разве мы сами!.. Нас насильно брали... — слышались голоса пленных.

— В Дайеровском полку пробовали наши солдаты бунт поднять и перейти на сторону большевиков, так американцы и англичане тех бунтовщиков из пулеметов расстреляли... Полковник Чубаш расстрелями нас только и запугивал...

После Тягунова Хаджи-Мурат, обычно любивший выступать, сказал всего лишь несколько слов о том, что пленных никуда из этого села конвоировать не будут. С приходом крупного соединения Красной Армии, продвигающегося на Архангельск, многих расшугают по домам, а с теми, кто совершал преступления против советской власти, видимо, будет не очень приятный разговор в Чрезвычайной комиссии.

Пленных развели по квартирам занятого хаджи-муратовцами села. Штабных офицеров, командиров рот и взводов, во главе с Чубашом, взяли под стражу.

Беспокойный и заботливый Тягунов ночью не раз выходил проверять караулы. Пленные солдаты спали, и не было оснований за них беспокоиться. Война надоела им,

беломорским, онежским и мезенским мужикам, цели войны им были чужды и не всем понятны.

Утром, после завтрака, Тягунов читал пленным солдатам «Послание Демьяна Бедного обманутым братьям в белогвардейские окопы». И когда при общей тишине он провзнес, как призыв, последние строчки послания пролетарского поэта:

Покончив с проклятыми гадами,
В одиночку, полками, отрядами,
Избавясь от гнета господской орды,
Все в братские наши вступайте ряды! —

пленные громко зааплодировали и стали Тягунова просить прочесть другие Демьяновы стихи и рассказать, что дала советская власть крестьянам.

Через два-три дня часть пленных отпустили домой в освобожденные от интервентов деревни. Офицеров и Чубаша отправили в Вологду, в штаб шестой армии.

Среди арестованных белогвардейцев не оказалось бывшего исправника Гантимурова, он успел перебраться в Архангельск.

Хлюстов спрятался под колосниками в овине и ждал удобного случая куда-либо скрыться. Но его обнаружили местные крестьяне и доставили к Хаджи-Мурату.

В эти дни подошедшие с фронта красноармейские части закрепились на новом рубеже. Время шло. Развертывалось наступление на Архангельск.

После небольшой передышки Хаджи-Мурат получил от командования приказ — смелым рейдом брезаться в глубокий тыл противника.

XIII

— Какие здесь замечательные матерые леса! Заглядешь! Куда лучше, куда краше наших кубинских! — восхищался Иван Тягунов, любуясь пинежским сосновым бором.

Он ехал верхом на бойкой и выносливой лошади мезенской породы. Отряд по занесенным снегом просекам кратчайшим путем продвигался к уездному городу Пинеж. Чем дальше от сплавных рек, тем гуще и величественнее был лес. Высокие, стройные, гладкоствольные, с золотистой тонкой корой сосны привлекали внимание не толь-

ко Тягунова. И Глухарев, и Кошкин, и другие северяне хвалили пинежские многовековые дебри, не тронутые топором. А Хаджи-Мурат, слегка покачиваясь в седле, глядел на вершины самых высоких сосен, и шапка-кубанка едва не сваливалась с его головы:

— У нас на Кавказе такого нет. Что нет — того нет...

— Да, если бы англичане и американцы похозяйничали в здешних местах подольше, остались бы тут один пеньки, — заметил Тягунов и, вспомнив свой завод, добавил: — Умеют эти самые Оскары да Эдуарды загребать чужое добро.

На остановках, на отдыхе в дремучих чащах пинежского леса отряд Хаджи-Мурата располагался привольно, без опасения подвергнуться внезапному нападению или обстрелу.

Иван Тягунов, чувствовавший себя в лесу как дома, иногда, с дозволения Хаджи-Мурата, с группой разведчиков из каргопольских и лешуконских уроженцев, на лыжах, по лесной бездорожке сворачивал в деревни, за десятки верст от пути продвижения, и всюду убеждался, что в архангельских лесных поселениях ждут не дождутся, когда будет покончено с белогвардейщиной, когда установится у них советская власть.

— Так что, товарищ Хаджи-Мурат, куда бы мы ни пришли на своей земле, — всюду люди, готовые выйти нам навстречу и поддержать нас, — заверял Тягунов командира отряда.

Прежде чем штурмовать город Пинегу, Тягунов с несколькими смельчаками пробрался ночью к надежным пинежанам и разведкал, что в этом северном, окруженном лесными массивами древнем деревянном городе интервентов нет, что англичане и американцы, поспешно отступая в Архангельск, сожгли здесь несколько своих самолетов и склад военного имущества. Узнал Тягунов и о том, что в Пинеге остался гарнизон из одного белогвардейского, так называемого первого мезенского полка, и что трусоватый и глуповатый генерал-лейтенант Петренко, командовавший полком, прослышав о судьбе своего коллеги Чубаша, сильно встревожился. Чтобы утешить и ободрить старого генерала, весьма одержимого религиозными предрассудками, архимандрит соседнего с Пинегой монастыря Григорий с братией преподнес Петренко новенькую икону грузинской богоматери. Генерал приказал в честь этой иконы служить

молебен, поставить весь полк на колени и вымалывать у бога милости и дарования победы над большевиками. А десятого февраля тысяча девятьсот двадцатого года Петренко приказал тому же полку остановить красные войска, наступавшие на Двинском направлении. Но в ответ солдаты дружно заявили:

— Довольно нам воевать против своих!.. Никуда мы отсюда не пойдем... Мы взяты в белую армию насильно и просим отпустить нас всех домой...

Когда отряд Хаджи-Мурата приближался к Пинеге, в белогвардейском мезенском полку, под влиянием агитации большевиков-подпольщиков, вспыхнуло восстание. Генерал Петренко, комендант города Хило и 38 офицеров были разоружены и арестованы...

Из лесных заснеженных просек отряд Хаджи-Мурата выбрался к реке Пинеге. Местами глубокий снег сравнял реку с берегами, местами на продолговатых плесах блистал расчищенный ветрами лед. По льду курилась тонкая, словно кисея, поземка. Вдоль берега тянулся тракт — тихий, безлюдный. Ни встречных, ни попутных — никого...

В Пинеге, Холмогорах, на Мезени и Печоре, на Онеге и по всему Беломорью население ждало прихода Красной Армии.

Отряд Хаджи-Мурата шел в авангарде других воинских частей. Передовой дозор на пинежском тракте возглавлял Иван Тягунов. Дозорные намного опередили отряд, остановившийся в одной из деревень отдохнуть и подкрепиться.

С высокого мыса бойцы заметили на пустынном плесе замерзшей реки большую группу людей. Сначала подумали, что это белогвардейцы.

— Нет, это не войска, — решительно отверг такое предположение Тягунов. Он посмотрел в бинокль: — Это, наверно, пинежские мужики из прорубей верши достают, рыбу ловят. Нехудо будет, братва, купить у них рыбешки, да свежей ухи попробовать!..

И Тягунов с дозорным галопом помчались вперед. Подъехав ближе, они разглядели, что пинежские крестьяне, орудуя пешнями, топорами и лопатами, достают из реки трупы. Несколько обезображенных, ничем не прикрытых трупов лежало у проруби.

— Вот так уха! — вырвалось у одного из дозорных.

— Да вы хоть бы их рогожкой или подстилкой при-

крыли!.. — проговорил Тягунов, в недоумении глядя на мужиков и чувствуя, как мурашки бегут по его спине.

— Вот видите, пятнадцать загубленных душ вытащили... — сказал старик-пинежанин, заметив на шапках всадников красные ленты. Остальные, молча, с некоторой опаской смотрели на разъезд красных бойцов.

— И еще десятка два есть, заморожено в лед, — продолжал старик. — Всё наши, пинежане да лешукопские, есть и из Карновой Горы которые... — Старик замолчал и смахнул рукавицей выступавшие слёзы.

— Кто они, эти люди?.. — спросил Тягунов.

— Они боролись против английских и американских грабителей, за советскую власть, за народную правду, — ответил старик и вонзил пещню в толстый бугристый лед.

Тогда, осмелев, заговорил еще один из мужиков:

— Не велели американцы доставать и хоронить их. А весной, с ледоходом, покойничков в море унесет. Так лучше достать их из реки да земле предать...

— Шапки долой! — скомандовал Тягунов и, первый сняв папаху, склонил голову над трупами погибших товарищей.

Прошло две-три минуты молчания. Мужики снова взялись за топоры и пещни. Осколки льда полетели в стороны. Кто-то багром подхватил в проруби два трупа, связанных веревкой. Мертвецы были босые, в одном рваном белье.

— Осторожней, осторожней вытаскивайте! — распоряжался старик. — Тело человеческое не повредите... Кладите сюда их, рядом с лешукопскими. Хоронить не сразу станем, родным для опознания объявим. Пусть люди вспомнят о заморских насильниках...

— Расспросив мужиков о том, как скорей добраться до Пинеги, Тягунов со своими дозорными вернулся в отряд Хаджи-Мурата.

Медлить было некогда.

Красные конники первыми въехали в город. За ними с Северной Двины следовала уставшая в зимних переходах пехота.

Генерал Петренко и весь офицерский состав пинежского гарнизона, не ожидавшие столь быстрой развязки — восстания в полку и ареста, не успели уничтожить штабные дела со всей секретной перепиской, со всеми уликами против них и интервентов. Хаджи-Мурат, оказывая особое доверие Тягунову, приказал ему, пока отряд находится в Пинеге, по-

интересоваться бумагами белогвардейского штаба и личным архивом сидевшего под арестом генерала Петренки.

— Возьми ребят, которые пограмотней, разберись и доложи мне, — распорядился он. — Уловки врага нам надо знать и даже теперь, когда враг обламывает зубы о тюремную решетку...

Иван Тягунов с группой бойцов отправился в бывшее помещение штаба белогвардейского полка. Кто-то предложил сжечь всю канцелярскую писанину или отдать ее пижежанам на оклейку стен. Бумаг было слишком много, а разбираться в них в такое время некому и некогда.

— Кому надобно — разберутся! Всё это пригодится не только для истории. Эти бумаги помогут выловить и обезвредить врагов, тех, кто пытался в годы гражданской войны восстановить власть капитала, — возразил Тягунов.

Роясь в штабных делах, он нашел генеральский портфель с бумагами и принес к Хаджи-Мурату. В портфеле оказалось много интересного. Сначала Хаджи-Мурат достал большую карту-десятиверстку с пометками. По ней можно было судить о том, какой путь выбрал генерал для отступления из Пинегы. Затем он извлек из портфеля пачку американских долларов, перевязанных шелковым шнурком, несколько английских стерлингов и небрежно бросил их на стол. Рядом с кредитками «союзников» он положил небольшого калибра маузер с надписью: «Генералу Петренко за борьбу с большевиками от генерала Миллера».

— Игрушечка! — похвалил Тягунов. — Если господь приведет расстреливать генерала, то обязательно из этой штучки...

В сумке обнаружили письма, списки офицерского состава, приказы Миллера, в том числе обещание — выдать сто тысяч рублей тому, кто доставит белому командованию голову Хаджи-Мурата.

— Подлец! И этот цену назначил! — удивился Хаджи-Мурат и сунул приказ себе под бурку. — Пусть мне на память... Давай, Иван, гляди — что еще там такое?..

Тягунов достал из портфеля тетрадь в черной клеенчатой обложке.

— Дневник!.. Вишь ты, Петренко записывал сюда свои переживания. — Иван начал перелистывать дневник, а Хаджи-Мурат выкладывал из портфеля порнографические фотоснимки американского происхождения, карманное евангелие в кожаном переплете, словарь английского языка и

еще какие-то бумаги, в которых Хаджи-Мурат не пожелал копаться. Тягунов, с трудом разбирая старческий почерк, прочел в дневнике последнюю запись генерала: «...Положение тяжелое, — с фронта наступает Красная Армия. Тыл отрезан кавалерией Хаджи-Мурата. С флангов — лесные трущобы и глубокие снега, а лыжами мы не запаслись. Податься некуда. Не будет из Архангельска поддержки, придется и мне разделить участь полковника Чубаша... Упаси, пресвятая богородица!.. За последние дни солдаты совершенно выходят из подчинения. Что предпринять? Среди сиволапой мужицкой солдатни — недовольство. Союзники уже отплыли. Колчак катится... Архангельские министры упаковали чемоданы и запаслись заграничными паспортами. Всё складывается так, как подсказывал здравый смысл. Или отчаяние и безрассудная смерть, или — сдаться на милость победителя...»

— Печальные откровения, — усмехнулся Тягунов. — При такой обстановке не богоматери молиться, а в прорубь головой...

— Такие ждут, когда их расстреляют, — хладнокровно заметил Хаджи-Мурат и, сложив в портфель всё содержимое, сказал Тягунову: — Передай начальнику штаба бригады или начальнику ЧК. Листать бумажки не мое дело. Наше дело — порядок навести и — марш на Архангельск! Пойдем, посмотрим, что в Пинеге делается, как наша братва с народом встречается. Как бы народ не обидели...

Они вышли на главную пинежскую улицу. Смеркалось... В большом селенье с приходом Красной Армии стало оживленно. Народ охотно собирался на митинги, прислушивался и присматривался к пришедшим устанавливать советский порядок. Красноармейцы и городская молодежь — парни и девчата — веселились. Семен Глухарев, как и всегда в таких случаях, невзирая на солидный возраст, находился среди молодежи и от плеча до плеча растягивал гармонь-трехрядку. Хаджи-муратовцы напевали веселые злободневные частушки:

Как в Архангельске тоска,
Всё покрылось мраком,
Не по вкусу и треска
Бельским воякам!..
А союзничек, нахал,
Нынче стал скупенск,
Клянчит Миллер-генерал
У Антанты денег...

Но в эту самую пору Миллер — военный диктатор и ставленник интервентов — уже не кланчил денег у Аптанты. Он вместе с архангельской буржуазией пробивался на ледоколе через беломорские льды, держа курс на Великобританию.

XIV

Архангельские белогвардейцы, не успевшие удрать с генералом Миллером за границу, отступая, рассеялись по беломорскому побережью. Красные войска заняли город без боя. Не подвергнутый обстрелу и пожарам, Архангельск уцелел. Дома обывателей, опустевшие портовые склады, древний собор с красочными фресками, присутственные места с колоннадой в классическом стиле, бронзовый Ломоносов с лирой и коленопреклоненным крылатым гением перед ним, — всё было на своем месте; сохранился даже деревянный домик Петра Первого, тщательно оберегаемый архангелогородцами. Но грабительское хозяйничанье американцев и англичан сказалось на жизни города и освобожденной от интервентов губернии. Пятьдесят две тысячи северян было «пропущено» интервентами через каторжные тюрьмы; тысячами исчислялись расстрелянные. Убытки от англо-американского грабежа на Севере достигали шестисот пятидесяти миллионов рублей золотом...

Когда конный отряд Хаджи-Мурата выехал с левого берега Двины на Троицкий проспект, его ожидала многочисленная толпа архангелогородцев, вышедших встречать освободителей. Восемьдесят всадников, с клинками наголо, одетых кто в шинели, кто в полушубки, ехали неторопливо, шагом. Из-под папах, лихо сдвинутых на затылки, виднелись покрытые снежной изморозью пышные чубы. Впереди отряда на бойкой кобылице, важно покачиваясь, ехал Хаджи-Мурат. На нем каракулевая шапка-кубанка, викидку на плечах широкая внушительная бурка. Рядом с ним не очень ловко восседал на игривом жеребце ординарец-матрос. Полосатая тельняшка, несмотря на крепкий февральский мороз, виднелась из-под распахнутого бушлата; бескозырка с развевающимися лентами закинута на затылок.

За Хаджи-Муратом и матросом ехали Степан Кошкин и Семен Глухарев. Опустив поводья к луке седла, Глухарев на гармошке-трехрядке играл «Смело, товарищи, в ногу».

На приветственные возгласы горожан бойцы отвечали сразу в несколько голосов:

— Да здравствует освобожденный Архангельск!.. Да здравствует советская власть!..

Тягунов оказался позади отряда. Лошадь у него была неплохая, молодая и достаточно обьезженная, но, споткнувшись на двинском льду, она разбила морду и засекала щиколотку передней ноги. Иван был вынужден спешиться и вести коня на поводу. Между тем отряд удалялся в конец проспекта и где-то свернул вправо, к каменным казармам. На углу Поморской улицы, около трамвайной остановки, Иван Тягунов задержался. Небольшое происшествие привлекло его внимание. Высокорослый, не то моряк, не то красноармеец, одной рукой стучал прикладом винтовки о тротуар, другой — держал за брововый воротник одетого в шубу маленького человечка с необычайно неприятным, отталкивающим лицом. Нос у него был приплюснутый, с непомерно раздутыми ноздрями; лохматые брови торчали над бегающими бесцветными глазами. Рыжие усы отвисли, толстые губы дрожали от страха. В стороне на тротуаре валялась его шляпа, и никто из прохожих не решался ее поднять. Тягунов услышал крики:

— Таких типов к коменданту надо таскать!.. Чтобы не ползали! Там разберутся.

— Противный! — выкрикнула одна из женщин, видимо, знавшая этого человека, и плюнула ему в длинные пряди нечесаных полуседых волос:

— Как пришли англичане да американцы, так он вышел их встречать с белой розой. А когда наши пришли, так он эту же розу перекрасил в красный цвет и опять вышел встречать!..

И тогда Иван Тягунов заметил под ногами столпившихся людей нечто вроде плаката с намалеванными красными розами.

А высокий человек с ружьем не унимался, тряс за воротник низкорослого, приговаривая:

— Пока я жив, я тебе, насекомое, житья не дам! Я тебя и под землей найду, я тебе припомню, как ты с генералом Марушевским к нам в тюрьму приходил вербовать «добровольцев» в белую армию. А сейчас о тебя и рук не стану пачкать!

С этими словами он так толкнул человека коленом ниже поясицы, что тот не удержался на ногах.

— Товарищ, неудобно так! — заметил Тягунов. — Вы, такой богатырь, человека искалечить можете...

— Ничего, этого паразита можно, — хладнокровно ответил высокий, — кабы я его не знал!

Человек между тем поднялся и, путаясь в полах широкой шубы, бросился наутек.

— Держи! Уйдет! — засвистели вдогонку мальчишки.

— Ничего! — махнул рукой человек с ружьем. — От меня не скроется, — и пошел рядом с Тягуновым.

— Жаль, хорошего помощника ты изувечил, — сказал он, кивнув на коня, — надо к ветеринару. У меня тут знакомый был один, он бы в два счета поправил.

— Да, ветеринар нашему отряду не помеха, — согласился Тягунов.

— Вы из хаджимуратовцев?

— Да. А вы кто такой?..

— Я? — переспросил высокий с ружьем. — Я Поскакухин. Может, слышали о большевиках, бежавших с Мудьюга? Так вот, я был зачинщиком этого восстания и побега.

— Ах вот оно что! — удивился Тягунов и протянул Поскакухину руку. — Я очень рад вас видеть. Читали в газетах о вашем подвиге. И вообще, от людей слышали... Кого это вы сейчас за шиворот встряхивали? Уж больно вы за него крепко ухватились. И вид у вас был такой, словно раздавить его собираетесь, как козявку...

— Да и следовало бы...

И, пока они шли от Поморской до Кузнечихи через проспект и всю Немецкую слободу, Поскакухин рассказывал Тягунову:

— Это местный богомаз, Сенька Сулейкин. Брат у него, торговец-ювелир и домовладелец, в Америку с интервентами удрал. А этот ханжа только об одном сейчас и беспокоится, как бы при большевиках уцелеть. Надо же так обнаглеть мерзавцу! — возмущался Поскакухин. — Американцев и англичан у Соборной пристани встречал с намалеванной на плакате белой розой, а теперь перекрасил эту розу в другой цвет и сам перекрашивается. Когда при интервентах я сидел в тюрьме, нас надзиратели белогвардейскими газетами пичкали. Там я частенько видел заметки этого Сулейкина: призывал население собирать теплые вещи для бебогадов. А однажды был напечатан его рисунок — изобразил английскую дальнобойную пушку, и написал под рисунком: «Наши союзники любезно предоставили мне воз-

возможность палнуть из этой пушки по большевикам, что я и сделал с большим для меня удовольствием». Быть может, он, гаденыш, хвастает, но этакое хвастовство нам забыть нельзя.

— Вы ему что-то напомнили о посещении тюрьмы генералом Марушевским? — с любопытством спросил Тягунов.

— Да, да... совершенно верно. Архангельская тюрьма была набита нашими рабочими-северянами. Были тут и большевики, и сочувствующие нам, а больше люди, схваченные ни за что ни про что. Расстреляли очень многих на Мхах, за городом. Незадолго перед тем как отвезти на каторжный остров Мудьюг, вывели нас — несколько сот заключенных — во двор тюрьмы, выстроили в две шеренги. Появляется тогда генерал Марушевский со свитой. С ним английские и американские офицеры. И этот Сулейкин тут же — как представитель белогвардейской печати. Марушевский агитировал нас вступать добровольно в белую армию. Никто, понятно, не согласился. Так что с вербовкой дело у них провалилось. И вот тогда этот гнилой и ядовитый мухомор Сулейкин покрутился около иностранцев, затем вскочил на кряж, чтобы казаться выше, и начал нас ругать и застрашивать — если не послушаем, мол, доброго совета генерала Марушевского, то всех нас сгноят в лагерях. А по рядам шёпот прошел: «Смерть предателям! Товарищи, держитесь!..» Сулейкину мы коротко ответили: «Послужи сам, собака!.. А мы кровь своих братьев проливать не станем!..». Впрочем, довольно об этой наскудной личности рассказывать, — отмахнулся Поскакухин и, закинув винтовку на плечо, стал свертывать на ходу цыгарку. Закурив, немного успокоился, заговорил снова:

— И вот, дорогой товарищ, допустим, что такие сулейкины будут жить при советской власти. И добро бы еще просто небо коптили, а то ведь врагами останутся, вредить станут. Будет этот вместо икон малевать карикатуры на попов, проклинять интервентов, которым вчера пятки лизал. Но всё это лишь для того, чтобы прикрыть свои гнусные дела...

До казарм было далеко. Взволнованный Поскакухин, немного помолчав, продолжал:

— Знал я, товарищ, одного хорошего человека. Его английские контрразведчики увели на расстрел из нашей камеры. Также живописец, но такой... с русским характе-

ром. Звали его Мальцев-Николаенко... Эх, товарищ, товарищ!.. Лошадка-то у тебя сильно засеклась, слез шагает... Непременно надо разыскать ветеринара, сделать перевязочку с лекарством... Ну, значит, было это так, — продолжал Поссакухин. — По квартирам шныряли интервенты. В эту пору в Архангельске в одном переулочке, тихо-мирно жил и работал часовых дел мастер, Мальцев-Николаенко. Между делом он занимался живописью, писал пейзажи. Была у него любимая картина — «Лунная ночь». Приходит к нему однажды английский полковник с сержантом. Полковнику пейзаж приглянулся, потребовал подарить ему картину. Мальцев сказал: «Ни за что! Самому пужна...». Полковник выплюнул окурок сигареты, щелкнул стеклом по голенищу и вышел. А через час двое контрразведчиков пришли за картиной и Мальцевым. Ему предъявили обвинение в сочувствии большевикам и через сутки расстреляли... — Поссакухин задумался и помрачнел. Видно было, что он очень близко и тяжело принимал к сердцу пережитое.

— Да, это был не Сулейкин! Жаль... сколько таких хороших людей загублено!.. — добавил он и, сворачивая в сторону предместья Соломбалы, на прощанье крепко пожал Тягунову руку.

Иван Тягунов со своим хромающим конем добрался, наконец, до казармы. Выбеленные стены казенного здания снаружи были сплошь изрешечены пулями. Здесь не так давно интервенты расстреляли из пулемета солдат, отказавшихся воевать против Красной Армии.

Сдав коня на ветеринарный пункт, Тягунов разыскал помещение, где расположился отряд Хаджи-Мурата. В эту ночь Иван долго не мог заснуть. Думалось о многом: о том, что война с белыми и интервентами близится к концу, но еще остаются внутри республики бывшие люди, подобные Сулейкину. Где-то спрятался Гантимуров, если не успел удрать с англичанами и американцами. С подобными замаскированными врагами предстоит упорная и длительная борьба. Думал Иван и о своей дальнейшей судьбе, о том, где ему придется жить и работать. Хотелось в город, где много крупных лесопильных заводов и есть чему поучиться. «А учиться даже мне не поздно, не говоря уже о Петьке...».

И после долгих раздумий Иван решил, демобилизовавшись, поселиться в Архангельске.

За два года войны на Севере он получил от Ефросиньи и сына Петьки всего только три письма, да и в тех, кроме низких поклонов, да просьб беречь себя, ничего не было сказано. Но Иван понимал, что в эту тяжелую пору войны и разрухи жизнь жены и сына на полуголодном пайке была нелегка. Хорошо, если иногда, из Катромы приезжает к ним тесть и помогает — выручает куском хлеба...

Демобилизовался Тягунов не сразу, после разгрома интервентов пришлось еще два месяца служить в отряде и вылавливать в пригородных деревнях притаившихся белогвардейских офицеров. Разъезжая по окрестностям Архангельска, Тягунов всюду видел — и на лесопильных заводах, и на речном и морском транспорте, и на единственной, ведущей к Вологде, железной дороге — следы тяжелой разрухи, следы ущерба, причиненного американо-английскими грабителями. И с каждым днем он больше и больше убеждался в том, что придется еще немало повоевать на мирном трудовом фронте...

XV

Хаджи-Мурат Дзарахохов уезжал из Архангельска на Южный фронт. Окруженный провожавшими его товарищами, он стоял на погрузочной площадке около серенького, похожего на сарай вокзала и, прощаясь с бойцами, говорил:

— Дела у Красной Армии хорошо идут: сухопутного генерала Миллера в море выставили. В Сибири наши товарищи запрятали адмирала Колчака в тюрьму. Скоро расправимся с Врангелем. Оставаясь в своем крае на трудовом фронте, вы, боевые орлята, работайте так, как воевали, — честно, самоотверженно, чтобы трудовому народу хорошо было...

Длинный состав товарных вагонов готов был к отправке. Демобилизованные бойцы на руках внесли своего бывшего командира в вагон. И пока поезд не скрылся за поворотом, все они стояли и махали папахами вслед эшелону.

В тот же день из Архангельска, в числе многих демобилизованных, отбыли домой в двинские деревушки Степан Кошкин и Семен Глухарев.

Иван Тягунов не спешил в усть-кубинские края. Архан-

гельск со множеством лесопильных заводов на могучей реке, соединяющей страну с внешним миром, оказался тем самым городом, в котором ему захотелось жить и работать.

Он пришел в городской комитет партии. В сутолоке послевоенных дней — работы непочатый край! Расспросив Тягунова, работник горкома, ведавший отделом восстановления лесной промышленности, дал ему письменное направление на лесозавод и сказал:

— Рамщики у нас всегда будут в почете. Но вам, товарищ, надо стремиться на руководящую работу. Понадобится — будем учить.

— Это было бы хорошо!.. — согласился Тягунов. — Учиться никогда не поздно!..

— Будем учить и учиться, пока не отрываясь от производства, а там, дальше, будут у нас свои лесные учебные заведения, курсы, техникумы, институты. До всего, товарищ Тягунов, дойдем! Вы правильно поступили, решив остаться в Архангельске. На Кубине вам, пожалуй, делать нечего. Там леса истощены, лесозаводы свертываются. А наш город с большим будущим, ему суждено стать все-российской лесопилкой. Устраивайтесь на заводе с жильем, перевозите сюда семью и — в час добрый — принимайтесь за работу. Желаю вам успеха...

За рекой Кузнечихой, за бесконечно длинным поселком Соломбалой, на запущенном и выведенном из строя заводе остался работать Иван Тягунов. Завод когда-то принадлежал англичанину Стюарту, а нынче значился под номером двадцать шестым и назывался «Имени Третьего Интернационала».

Завод, как и все в ту пору лесопильные заводы в Архангельске, бездействовал, пуждался в ремонте, в рабочей силе. Дровесины для распиловки не было. Прежде чем приступить к делу, Тягунов, заняв комнату в общежитии, сразу же поехал за семьей. Через два дня он был дома.

... Усть-кубинский завод «Красный экспортер» в ту пору стоял с заколоченными окнами и воротами; ветер свистел в цехах на все лады. Жизнь в рабочем поселке замерла. Многие старые пильщики, не призванные в армию, трудились на лесозаготовках.

Ефросинья обрадованно встретила Ивана, но для нее было неожиданным его решение переехать в Архангельск. Она обжилась на бывшем рыбкинском заводе, смирилась

со всеми трудностями, и ей казалось, что жить здесь не плохо, а дальше, конечно, будет лучше.

— С чего это тебе вдруг Архангельск полюбился? — спросила она мужа после долгих разговоров. — Там, говорят, еще голодней, чем у нас, холод крепче, и лето короче, и ласточки летом туда не долетают.

— Вот уж чего не знаю — так не знаю... — отвечал ей Иван. — О ласточках никого не спрашивал. Но город большой, трамваи ходят. Корабли во льдах. Лесопильных заводов более двадцати, и все не нашему чета, да еще новые заводы построим... Работы, работы — не проворотить! Там и жилье нам готово. Комната теплая, вдвое побольше этой. Сутки тебе с Петькой даю на сборы и — поехали!

— А ты попробуй-ка в сутки Петьку из лесу достать.

— А что?

— Да то, что где-то за Вожегой лес рубит... Тут у нас всех пареньков-подростков взяли под метелочку — и в лес...

«Придется за ним привернуть. Как раз по пути будет», — подумал Иван.

Сборы к отъезду были коротки. На другой день Иван Тягунов выехал с женой и со всем скромным домашним скарбом на Вожегу, чтобы там, ожидая поезда, разыскать Петьку на лесозаготовках и взять его с собой в Архангельск. А через три дня они приехали в город и на трамвае пробирались к новому месту жительства, на лесозавод...

Больше всех переселению в Архангельск радовался Петька. Особенно понравилось ему здесь весной, когда на Северной Двине кончился ледоход и настали длинные теплые дни.

Летом Петька поработал недолго на выкатке леса, а потом стал просить отца определить его на какую-либо должность в контору.

— Почерк у меня, тятя, хороший, образование шесть классов. Может, погожусь в счетоводы, может, в делопроизводители?

Ефросинья поддержала сына.

— Ты подумай, отец, ведь легче и способнее орудовать пером, чем топором. Помоги Петьке конторщиком стать...

Но Иван насчет пера и топора имел свое определенное мнение:

— Верно, — сказал он, пощипывая усы и хмурясь, — писарем быть дело, конечно, легкое... Но для нашего Петь-

ки это не работа. Он такой рослый крепыш, каждая моя одежина ему по плечу, обувь по ноге. Силой не обижен. Пусть-ка годика три-четыре в лесу поработает. Топор из рук у него не валится. Ступай, Петька, в лес!..

Возражать отцу не принято. Воля отца считалась законом для сына, вступающего на самостоятельный жизненный путь.

— Что ж... в лес — так и в лес!..

В начале осени Петька Тягунов завербовался на лесозаготовки. Получив авансом несколько десятков тысячерублевых бумажек, — деньги тогда были обесценены и дешевели с каждым днем, — Петька покинул Соломбалу. Отец его остался работать на восстановлении лесозавода, чтобы здесь же потом стать рамщиком. В постоянных трудах и непрерывных заботах быстро летело время.

XVI

В Архангельске открылся Лесотехнический институт. В дневное время там учились студенты, а вечером в те же аудитории приходили рабочие с лесопильных заводов. Однажды, шагая по набережной Северной Двины, Иван Тягунов спешил на вечерние занятия. Он был погружен в свои думы и не обращал внимания на встречных. Но в толпе, около бывшего Соловецкого подворья, Иван заметил одного гражданина, который напоминал ему кого-то своей внешностью, но кого — Иван так и не смог припомнить. Даже на лекции, слушая преподавателя, Тягунов то и дело возвращался к мысли о неизвестном: «Не встречался ли я с ним в вологодской тюрьме или в кадниковской сылке? Нет, как будто не встречался...». В другой раз, придя с Ефросиньей на базар, Иван неожиданно снова увидел того же человека. Незнакомец стоял в ряду бархальщиков и продавал золоченые рамки, оставшиеся от каких-то отживших свой век портретов. Тягунов подошел к нему, без всякой надобности приценился, а потом сказал:

— Мне ваше лицо как будто знакомо, не встречались ли мы где-нибудь?

Незнакомец отрицательно покачал головой и, потупив глаза, чуть слышно, хлиплым голосом ответил:

— Нет, я вас не знаю. Мало ли бывает лиц, имеющих сходство...

Когда Тягуновы отошли в сторону, Ефросинья дернула Ивана за рукав:

— Да и мне он... тоже, кажется, знаком. Где-то я его видела, но только давно-давно...

Они уже дошли до трамвайной остановки, как вдруг Иван решительно повернул назад.

— Поезжай-ка ты, голубушка, с покупками домой, — сказал он, — а я вернусь на рынок и еще пригляжусь к этому типу... Не могу успокоиться... Если это он, то я хоть в морду ему плюну. Нет, если это он, то разговор будет серьезный...

— А кто же он, по-твосму? — полюбопытствовала Ефросинья.

— Очень смахивает на бывшего исправника Гантимурова. Я его видел всего два-три раза в Кадникове...

Ефросинья Макаровна опустила на тротуар корзину с покупками и от удивления широко раскрыла глаза.

— Иван, да ведь это, пожалуй, он!.. Видела я его, когда в Катрому с казаками приезжал мужиков пороть. Голос не похож, не его голос, а с лица — он!..

— Голосок у него теперь притих. Ну, ты поезжай, а я еще раз попытаюсь убедить, он ли это, и узнаю, где он живет. Быть может теперь другую фамилию носит...

— Смотри, Иван, под горячую руку не сотвори чего лишнего. Делай по закону. На то милиция есть...

Тягунов вспомнил смерть отца, свое пребывание в Кадникове под полицейским надзором, и физиономия бывшего исправника Гантимурова — надменного и кровожадного — отчетливо всплыла в его памяти, и ему захотелось, чтобы советское правосудие восторжествовало. Он шел по одной стороне Банковского переулка, а по другой — возвращался с базара Гантимуров. Теперь не было сомнения — это был он. Рядом с ним семенил низкорослый человек в шапочке, похожей на сукфью. Он нес, вздев на руку, старые позолоченные рамки, вероятно, проданные ему Гантимуровым. С первого же взгляда Иван Петрович узнал бывшего богмаза Сулейкина. Пропустив их вперед, Тягунов последовал за ними. Шли они медленно, о чем-то тихо беседуя. Когда же свернули на Троицкий проспект, Тягунов догнал их и прислушался к разговору.

— Не думаете ли, Семен Устиныч, покинуть Архангельск? — спросил Гантимуров.

— Нет, не думаю. Полагаю — всё обойдется тихо-глад-

ко. Буду доживать свой век там, где родился, — ответил Сулейкин.

— А не боитесь? Вам тоже, Семен Устиныч, могут кое-что припомнить...

— Был уже в переплетах.

— Ну и что?

— Пронес господь... Однажды сам прокурор допрашивал. Допрос снял, а меня отпустил. Узнал, что я художник, и отпустил.

— А вы думаете, большевикам нужна ваша живопись? — спросил опять Гантимуров.

— Не знаю... Не думаю. Живописью я теперь и не занимаюсь. Иконопись не в моде. Себе дороже таким делом заниматься. Поступил в художественную артель «Палитра». Кто вывески, кто лозунги и плакаты пишет, а мне поручили писать таблички.

— Какие таблички?

— Да разные... На железных планках черным лаком по белому фону: «Председатель», «Секретарь», «Без доклада не входить», «На пол не плевать», «Рукопожатия отменяются» и прочую такую мелочь. Бывает, на дом приходят заказчики. Тогда заработок побольше, и заказец другой, хотя тоже таблички: «Под сим крестом покоится раб божий, имя рек...». Этим и пробаваюсь, Николай Вячеславич. А ны никуда из Архангельска не собираетесь?

— Надо бы, да не знаю — куда податься... Там, где служил, нельзя показываться — сцапают. А на новом месте — куда ни сунься — везде спросят: «Чем ты занимался до семнадцатого года?! Где и кем был при белых?..».

— Что говорить, вопросы щекотливые! — согласился Сулейкин.

— Ездил в Вологду. Там есть кое-какие дружеские связи, — продолжал Гантимуров. — Но встретил одного знакомого чиновника и еще супругу самого покойного министра Хвостова — когда-то бывшего губернатора вологодского, так они мне в один голос отсоветовали. Да и сам я — в Вологде мне долго не продержаться...

Разговор прервался. Гантимуров и Сулейкин свернули в мануфактурный магазин. Тягунов за ними. Покупателей было много, и он продолжал оставаться незамеченным. Сулейкин спросил у продавца пять метров холста. Тот молча, словно глухонемой, показал на аншлаг: «В продаже только ситец». А ниже — другой, огромный, синими бук-

вами на белом полотнище: «Шейте рубахи из советского ситца, долго-предолго будут носиться».

— На улице разговор возобновился:

— Совсем не умеют торговать! — желчно проговорил Сулейкин. — Раньше в магазины-то зазывали, а теперь и разговаривать не хотят... Прочитай, что написано, и отворот — поворот...

— Новая хозяйственная политика... Недаром сам Ленин сказал своим кооператорам: учитесь торговать!.. — ехидно заметил Гантимуров.

— Ничего... проторгуются, проворуются! У частного опыта, а у них что?..

У пожарной каланчи, вблизи городской ратуши, Сулейкин и Гантимуров расстались. Иван незаметно последовал за Гантимуровым и шел за ним, пока тот не свернул в ворота двухэтажного бревенчатого дома, к низенькому крашеному флигелю, стоявшему во дворе. Подождав несколько минут на улице, Иван Петрович для достоверности спросил соседних жильцов и, убедившись в точности адреса, поехал на трамвае в Соломбалу...

Ефросинья три раза подогрела самовар в ожидании мужа. Увидев его возбужденного, тревожно спросила:

— Почему так долго? Ну, что, он?

— Да, он. Только староват стал, сгорбился малость... Давай, Фрося, наливай чай, да покрепче... Сегодня выходной день, а завтра я заявлю — пусть его исповедают...

Бывший кадниковский уездный исправник, он же забайкальский князь Гантимуров, за последние годы сильно осунулся и постарел. После изгнания интервентов с Севера он притаился в Архангельске и жил здесь в страхе и трепете. При интервентах, занимавшихся грабежом, Гантимуров получил интендантский пост, служил, воровал и теперь на ворованные харчи и вещи продолжал потихоньку жить в Архангельске при советской власти. И вот благодаря Тягунову стало о нем известно в следственных органах. Вологодская губернская прокуратура возбудила уголовное дело. Арестованного Гантимурова доставили из Архангельска в Вологду на суд; было вызвано из Катромы человек десять свидетелей, испытавших на своей спине полицейские плети и нагайки. Вызвали на судебное заседание и заявителя по этому делу, Ивана Петровича Тягунова. Не было рядом с Гантимуровым бывшего лесопромышленника Рыбкина. Подшитая в следственном деле справка гла-

сила, что Рыбкин за год до революции повесился после крупного проигрыша в карты...

Два милиционера провели Гантимурова в переполненный зал. Ни на кого не глядя, грузно опустился он на скамью подсудимых. Лысая голова бессильно склонилась. Плечи, когда-то широкие и прямые, заострились, как крылья старого коршуна. И никто из свидетелей, пожалуй, не узнал бы его, встретив случайно среди белого дня. Много лет прошло с той поры, когда на улице Катромы он с пеной у рта кричал: «Пороть... пока не сдохнет!..». Тогда он был надменный и властный. Теперь — пришибленный, всеми презираемый, сидел, не шевелясь, ожидая судебной процедуры и сурового приговора.

— Сколько-то ему присудят? — интересовались посетители.

— Счастлив, царское чучело, попал бы в Архангельске в двадцатом — крышка! Спустя пору, пожалуй, строго не накажут...

— Ну, это еще как сказать...

— И где он, гад, укрывался?..

Кто-то ответил:

— Мало ли их еще скрывается... Вон, говорят, жена бывшего министра Хвостова ходит по базару... браслетки, колечки продает... Опамедни какой-то бывший губернатор ее навестил и быстро улетучился...

Один из катромских мужиков тихонько рассказывал соседу:

— При царе-то был гроза-грозой, а теперь хочет откупиться слезой. Был я на очной ставке с ним у главного следователя. Задрал я на себе рубаху и говорю: «пятнышки-то от гантимуровской нагайки — вот они где записаны... Их не сотрешь!..». А этот, контра, и говорит: «Мое дело было такое: исполнять волю государя и свои обязанности. Что ж, судите... ваша взяла», — и заплакал, мерзавец...

— Встать! Суд идет! — возвестил бравый милиционер, стоявший в проходе около сцены.

Председательствующий, зачитав обвинительное заключение, стал опрашивать обвиняемого и свидетелей.

Два дня длилось судебное разбирательство. Потом все присутствующие, стоя, выслушали подробный приговор по делу и решение суда: Гражданина Гантимурова Николая Вячеславовича подвергнуть лишению свободы сроком на 5 лет с зачетом предварительного заключения...».

XVII

ЭПИЛОГ

Над весенним Архангельском, над бурной Северной Двиной несутся в сторону Белого моря хмурые дождевые тучи. На реке небывалый подъем воды угрожает пригородам наводнением. Где-то, в верховьях реки, за дсревней Уймой, за Черным Яром, раздаются взрывы: это расчищают заторы льда с помощью взрывчатки. Взрывы учащаются, потрясая лесистые двиинские берега. От затора откальваются огромные торосы и медленно плывут по течению. Но затор остается. Вода прибывает. В городской штаб по борьбе с наводнением сообщают с левого берега реки, что разлившаяся Двина не подпускает к Архангельску московский поезд. Требуются леодоколы. Но даже леодоколы не везде в состоянии пробить сгрудившийся лед. Двое суток держится ледяная плотина. Вода поднимается выше и выше. Наконец затор прорван. Река облегченно вздыхает и быстро, с необычайной силой, уносит на себе всю ледяную тяжесть в Белое море. Вместе с глыбами льда устремляется туда множество брезен. Иногда плывет где-то подхваченный льдиной барак или исковерканная баржа и какие-то потерявшие свою форму строения.

И вот кончился леодоход. Настушили не по-весеннему серые дни. Студеный ветер рвет и мечет. Сердито бушует мрачная и холодная Северная Двина. Угрюмо и сурово выглядит в такие дни Архангельск, и кажется, нет в городе другого шума, кроме речного прибоя. Пенистые волны-беляки отчаянно и злобно набегают на берег и с грохотом бьются о камни. Казалось бы, и ветер стихает, — а река всё никак не может уюмониться. Речные пароходы где-то притаились, пережидая бурю, морские — стоят на рейде реки, солидно покачиваясь и перекликаясь сиренами. Двухтрубный гигант леодокол, грозный, не боящийся сплошных льдов, словно дремлет, убаюканный в эту непогоду. Скрипят стальные кольца тяжелой цепи, продернутой в «ноздри» леодокола. Под вой ветра гудят на нем протянутые от мачты к мачте антенны, и с берега видно, как леодокол кланяется Архангельску, кивая мачтами и мигая разноцветными огнями сигнальных фонарей и рефлекторов.

Около лесозаводов на Двине, на Маймаксе, на Кузнецихе, в Бакарице и Соломбале лязгают лесокатки и начи-

нают вырастать штабели бревен. На заводских лесобиржах оживление. Стопы сосновых золотистых досок дождались прихода кораблей. Не успел еще закончиться ледоход, как первые суда — советские лесовозы — пришвартовались к причалам погрузочных площадок. Автолесовозы, краны, лебедки и живая человеческая сила — всё пущено на полный ход. В яркие весенние дни и в белые ночи дежурили вахтенные на кораблях, наблюдая за погрузкой леса. А немного позднее, когда горло Белого моря очистилось от густого пловучего льда, на Двину и Онегу, на Мезень и Печору стали приводить свои торговые суда капитаны далеких заморских стран.

На лесозаводе и целлюлозном комбинате, где работает Иван Петрович Тягунов, прошлогодний лес уже давно распилен. Часть рабочих-пильщиков временно направлена на сплав.

Ивана Петровича вызвали в партийный комитет к заведующему лесопромышленным отделом.

В приемной на очереди человек десять с лесозаводов.

Перед девушкой, техническим секретарем, список вызванных. Как только кто-нибудь входит через двойные, похожие на гардероб двери в кабинет заведующего отделом, девушка ставит против фамилии вошедшего ижицу. Прием посетителей затягивается. Наконец и Тягунов проходит в кабинет. Заведующий отделом его не задерживает, вручает путевку: «Тягунов Иван Петрович командирован в район Двино-Важья для содействия местным организациям в работе по сплаву древесины...».

В белую ночь большой пассажирский пароход, отчалив от пристани, уходил вверх по Двине. Через сутки с четвертью Иван Петрович приехал в то самое село, где несколько лет назад он вместе с бойцами отряда Хаджи-Мурата разоружал пленных беляков, сдавшихся во главе с полковником Чубашем. Знакомые сельские избы, на взгорье бывший кулацкий дом — нынче с вывеской межрейсовой сплавной конторы. По пути к конторе — обезглавленная, никому не нужная церковь.

Тягунов направился к сплавной конторе. Несмотря на раннее утро, все служащие на работе: в горячее весеннее время прохлаждаться некогда. И люди, не считаясь с нормами трудового дня, работали столько времени, сколько требовалось для бесперебойного обслуживания сплавщиков, а те, в свою очередь, на работе не щадили себя. Ко-

мандированных из города на здешние запани было человек тридцать. Отметив на путевке день прибытия и поставив печать, начальник сплавной конторы, мельком взглянув на Тягунова, спросил:

— Куда хотите? Ваенга? Вага? Конедгорье?..

— Мне бы туда, где работает Кошкин, мой старый приятель...

— Ага! Осиновая запань, на противоположном берегу Двины. Знаете Степана Кошкина?

— Еще бы! И много лет. Еще тут мой сын должен где-то работать — Тягунов Петр... Не слышали о нем?

— Не слышал, не знаю... Что вам еще? Отдохнуть с дороги? Можете в общежитии. Питание организуйте сами на запани. Попасть туда легко — лодка-моторка пойдет через час. Будьте здоровы! Остальное всё на месте. Главное — сплав закончить в месячный срок. Помогайте словом и делом! — Начальник сплавной конторы, не поднимаясь с места, одну руку протянул Тягунову, другую — снял телефонную трубку.

Уходя, Тягунов услышал:

— Скажите там Кошкину, чтобы сведения о сплавной древесине аккуратно представлял, ежедневно к двенадцати ночи. Да передайте ему, что на запань направлен уполномоченный, фамилия его — Тягунов.

Дни в ту весну стояли солнечные. Обсыхали на побережьях Двины заливные луга. Дружно поднималась зеленая поросль, быстро покрывая прелую прошлогоднюю отаву. На ивовых кустах, свисавших с отлогих берегов, появились белые барашки, а вскоре заменили их яркозеленые листочки. В прибрежном кустарнике, на опушке лесов, расцветала пахучая черемуха. Время близилось к лету.

В эти дни, на сплавнои участке Иван Петрович часто встречался с сыном, работавшим на отбуксировке плотов. Его сын выполнял здесь также обязанности агитатора среди молодых сплавщиков, проводил собрания, беседы и устраивал концерты силами бурлаков.

«Парень способный, теперь бы пора и в город ему — поработать там на лесозаводе да поучиться по лесной части», — думал иногда Иван Петрович, любясь сыном. И однажды поведал ему свои думы. Петр не ответил отцу. Иван нахмурился и тоже замолчал. Однако на другой день, в присутствии Кошкина, он возобновил разговор о переезде в город и об учебе. Петр отмахнулся:

— Спрашивай, отец, у товарища Кошкина: на работе я в его распоряжении, а поскольку я комсомолец, то вопрос о моей учебе должен решаться комсомольской организацией...

— Вот ты какой!.. Значит, для тебя отцовское слово... стало ничем... вроде бы пустой звук? — возмутился Иван Петрович.

Петр усмехнулся:

— Почему? Тебя я уважаю, знаю, что отец у меня не какой-нибудь обыватель или деляга. Но я уже взрослый, да и ты ведь порой забываешь, что у тебя есть сын.

— Ну что ж, для северян дело обычное — пускать в люди своих сыновей, как только они станут способными к труду, — заметил Кошкин. — К тому же у нас характер лесной промышленности такой, отхожий. Многие наши ребята работают самостоятельно и отвыкли от своих семей, так что ты, Иван, на сына не обижайся.

— Еще бы обижаться! — резко сказал отец и нахмурил брови. — Было бы хуже, если б мы с матерью вырастали из него иждивенца. А иждивенцу недолго стать лентяем и тунеядцем...

— Ладно, отец, — согласился Петр, — об учебе в городе я, конечно, подумаю. — И примирительно, как бы в шутку, добавил:

— Так маме и передай: через год приеду. Пусть присмотрит для меня невесту работающую, и чтобы мещанским духом от нее не пахло.

Степан Кошкин усмехнулся:

— Так ты, Петька, поедешь в город учиться или жениться? Невесту мы тебе и здесь, в лесу, найдем, да такую картинку, — как взглянешь, сразу повянешь, и всё на белом свете забудешь...

— Едва ли найдется такая, чтобы сумела из меня память вышибить, — отшучивался Петр. — На «картинку» мне любоваться некогда, а нашлась бы крепкая, умная, и чтобы дело у нее из рук не валялось. Ну и чтобы друг другу полюбились, без этого тоже нельзя... Как, отец, смотришь?..

— Всему свое время... Подождать еще не мешает, — возразил Тягунов.

— Да я, батько, и не спешу...

Разговор происходил в обеденный перерыв на берегу Двины. На десятки верст вверх и вниз расстилалось пле-

со реки. Изредка по нему проходили буксиры с огромными плотами леса. Чайки металась над водой, то взвываясь в высь, то стремительно падая и выхватывая из реки рыбешку.

Отец и сын были заняты своими мыслями и старались друг другу не мешать. Кошкин задумчиво глядел на противоположный берег, на разлив реки Ваги, впадающей в Двину, на соседнюю западь и серые крыши дальней деревеньки, наполовину скрывшейся за перелеском.

— Вон там, на мысочке, — всматриваясь вдаль, сказал тихо Степан, — в восемнадцатом году стояла часовенка. Около нее был штабелек бревен... Павлин Виноградов выставил здесь пушку-трехдюймовку, оборонялся от англичан и американцев. Тут его и убили...

— Там он и похоронен? — спросил Петр.

— Нет, хоронить увезли в Петроград...

— А ты его видел?

— Павлина? Еще бы! Вот как тебя, близехонько видел... Вместе оборонялись... Твердый был человек, решительный. Благодаря его храбрости и удалось тогда англичан с американцами задержать на этих рубежах...

— К тому бы месту наших ребят на экскурсию свести. А ты бы им рассказал о тех днях, — предложил Петр.

— Что ж, это можно, — согласился Кошкин. — Поуправимся со сплавом и побываем. Тут и ехать-то верст пять-шесть, и того не будет...

Из столовой и общежитий после перерыва толпами выходили сплавщики и спускались с берега на плоты и бонны. Они сортировали брёвна, направляя их баграми в плоточные стапки. Засучив рукава холщовой толстовки, Петр побежал в свою молодежную бригаду, откуда неслись звонкие голоса:

Раз, два! Взяли!
Раз, два! Дружно!

Степан Кошкин с Иваном Тягуновым направились в сплавную контору для переговоров по телефону с леспрохозами «Сверолеса». С верховьев Двины и Вычегды ожидалась еще и еще миллионы кубометров заготовленной древесины. Сплав леса успешно продолжался. Красавица Двина легко и весело несла на себе великий груз лесного зеленого золота, добытого трудом выносливых лесовиков-северян.

... Прошел с того времени год. И опять весна. На лесозаводах было еще больше штабелей пиленого леса, и больше, нежели в прошлом году, стояло кораблей у причалов на погрузке. У пристани речного пароходства возле завкомовской автомашины стоял Иван Петрович, с некоторым волнением ожидая сына. В большой толпе пассажиров, приехавших из Котласа и других северных районов, Петра трудно было приметить. Он сошел с парохода, неся небольшой сундучок и связку книг, посмотрел вокруг и, увидев отца, восторженно сказал:

— Эге, отец! Да ты, никак, на эмке подкатил!

— А как же, сынок!.. Кому и ездить, если не нам! Наш завод за перевыполнение плана нынче премирован тремя машинами. Давай, сынок, садись! Да не с шофёром, а рядом со мной.

Иван Петрович крепко поцеловал сына. Петр приметил, что у отца от немалых забот заметней прежнего проступила на висках седина, появились морщины под глазами, а глаза сузились, и в них не стало былого задорного блеска. Но крепкий, довольно подвижной, Иван Петрович не казался старше своих пятидесяти лет.

Сидя рядом с сыном, Тягунов глядел на профиль Петра и был весьма доволен, что такой парень — крепыш, лобастый, с чубом русых волос, решил переехать в город работать и учиться. И когда они проезжали мимо Лесотехнического института, оба заметили возле памятника Ломоносову группу студентов. Многие из них были гораздо моложе Петра. Но это его не смущало. Ведь и тот, великий ученый, чей образ перед фасадом института изваян из бронзы, начинал учиться уже взрослым, под колкие насмешки недругов: «Смотрите, какой болван двадцатилетний пришел латыни учиться...»

Отец, показывая на институт, сказал:

— Да, сынок, нынче осенью ты обязан сюда поступить. Смотри, время идет, и годы твои тоже не стоят на месте. Упущенное не всегда можно вернуть...

— Постараюсь, отец, постараюсь...

— Тебе, Петька, будет легче, нежели мне пришлось. У тебя как-никак в прошлом шестиклассное училище и есть опыт общественной работы.

По главной улице они проехали в другой конец города. В Кузнечихе перемахнули через зыбкий наплавной мост. Скоро, проехав половину Соломбалы, автомашина

юркнула вправо и понеслась по деревянной мостовой в сторону лесопильного завода.

... Днем, после семейной встречи с небольшой выпивкой, Петр отдохнул и вместе с отцом пошел посмотреть на новый завод-комбинат, построенный в советские годы. В цехах, на площадках, у лесопильных рам, на бассейне, на погрузке и на укладке досок — всюду трудилась молодежь, пришедшая из деревень.

Огромный завод поглощал столько леса, что на минуту Петр Тягунов, глядя на уходящие с тяжелыми ношами автолесовозы, задумался и сказал, как бы обращаясь к своей оставшейся в лесу бригаде: «Да, ребята, маловато мы пска лесу даем...». Обойдя цехи лесопильного завода, отец повел сына посмотреть на соседний, работающий па отходах лесозавода, целлюлозный комбинат.

Каменные корпуса варочного цеха, теплоэнергоцентрали и другие цехи, построенные по последнему слову техники, в отличие от деревянных корпусов лесозавода выглядели строго, внушительно. По длинной километровой эстакаде через смежный древесный цех непрерывным ручьем струилась по желобам сосновая стружка.

Женщина с дробовиком за спиной поклонилась Ивану, проверила у Петра пропуск, показала рукой в сторону варочного цеха:

— Проходите.

После работы на лесной делянке и лесного легкого, здорового воздуха, Петр почувствовал, как кислый запах древесной жидкой массы, смешанной с химическими веществами, неприятно щекочет ноздри. Отец и сын прошли в продолговатую комнатушку, где за письменным столом сидел начальник цеха и просматривал только что полученные из Москвы брошюры об опыте передовых предприятий целлюлозной и бумажной промышленности. В этих брошюрах был отражен опыт и его рабочих.

Начальник вышел из-за стола. Узнав, что Иван Тягунов хочет показать своему сыну комбинат, он охотно повел их в цехи, и в первую очередь в свой, которым очень гордился. Грузно ступая по железным настилам, Иван Петрович шел рядом с сыном и говорил:

— Вот какой завод за последние два-три года поставили. По величине из лесных комбинатов едва ли еще где на земном шаре такой другой найдется...

— Да, равных ему нет, — подтвердил начальник цеха и, обращаясь к Петру, начал объяснять. — Вы, дорогой товарищ, не удивляйтесь, если мой цех покажется вроде бы пустым, безжизненным. Это только видимость. На самом деле людей у нас в цехе мало потому, что весь наш завод работает на самом высоком уровне механизации. Вот, например, в этом зале — тут и гребенчатые мельницы, перемалывающие сучки, и обезвоживающие барабаны, и сучкоуловители, и сортировщики, и сгустители — каких только нет наименований машин и агрегатов! А кто здесь работает, кто за всем этим присматривает? Один человек!.. Полюбуйтесь, — восторженно сказал начальник цеха, показывая на девушку, стоявшую вверху на помосте. — Умная головушка, достойный депутат горсовета, одна из лучших работниц — Лида Кощеева. В прошлом году пришла из деревни и поступила сюда работать. Поучилась, взялась за дело серьезно, и вот теперь она — старший очистник. Под ее наблюдением работает пятьдесят различных аппаратов!..

С помоста, в голубой спецовке, с красной повязкой на голове, торопливо спускалась по железной крутой лестнице румяная, скромная и привлекательная Лида Кощеева.

Начальник спросил ее о чем-то, касающемся производства, и сказал:

— Вот сынок Ивана Петровича из леса приехал, интересуется — как мы тут работаем, что делаем из северных сосен...

— Пусть интересуется, — застенчиво ответила девушка, — работаем, как можем, а постараемся — так можем и лучше. У нас, конечно, не в лесу, работа полегче. В нашем деле главное — знать агрегаты и держать их в полной исправности...

— Славная и толковая дивчина, — проговорил начальник цеха вслед уходящей Лиде, — работать с такими людьми, как она, — одно удовольствие!..

Они еще долго ходили по цехам, то спускаясь, то поднимаясь по многочисленным лестницам. Под самой крышей варочного цеха, на уровне семиэтажного дома, раскрытая дверь вывела их на балкон, обнесенный железной решеткой. Петр посмотрел на панораму комбината, на обширный рабочий поселок и окрестности города.

— Да, вот это вид! — сказал Петр.

Вид был действительно замечательный. Два крупнейших архангельских завода со множеством построек раски-

нулись на несколько километров. Справа без конца и края тянулась густо застроенная рабочая Соломбала. Над городом висело тонкое дымчатое облако. Кружась над Северной Двиной, шли на посадку самолеты. С левого берега Двины уходили в глубь страны эшелоны пиленого леса; грузились у причалов корабли арктического флота; шли в море караваны судов на зверобойные и рыбные промыслы. Жизнь кипела вокруг во всем ее многообразии. Далеко-далеко на север простиралась необъятная ширь лесов. Облака сливались на горизонте с уходящим вдаль Беломорьем...

Петр глядел с балкона и восхищался. Его радовал и бесконечно длинный лесопромышленный портовый город, и величавая река, и взморье, и далекие лесные горизонты.

Сердце его радостно билось, хотелось долго жить, неустанно работать и многому-многому учиться...